Айдесская прохлада. Очерк жизни и творчества Владислава

Юрий Колкер

SHOUT
SHARE
IT

•

Юрий Колкер

АЙДЕССКАЯ ПРОХЛАДА

Очерк жизни и творчества Владислава Ходасевича (1886-1939)

Из книги:

Собрание стихов В. Ф. Ходасевича в двух томах, составитель и редактор — Юрий Колкер, Париж, La Presse Libre, 1983.

В основу очерка положен доклад, прочитанный 30 мая 1981 года в Ленинграде, в частной квартире, на вечере, приуроченном к 95-летаю со дня рождения поэта.

«В кликушестве моды его заслоняют все школы (кому лишь не лень): Маяковский, Казин, Герасимов, Гумилев, Городецкий, Ахматова, Сологуб, Брюсов — каждый имеет ценителей. Про Ходасевича говорят: «Да, и он поэт тоже…». И хочется крикнуть: "Не тоже, а поэт Божьей милостью, единственный в своем роде"…»

Андрей Белый. (О стихах В. Ходасевича), 1922.

«Ходасевич — величайший из современных русских поэтов…»

Максим Горький. Письмо к редактору бельгийского журнала Зеленый круг, 1923.

Настало время, когда слова «один из драгоценнейших русских поэтов», сказанные некогда над прахом Блока, уместно связать с именем того, кто их произнес, — с именем Владислава Ходасевича. У нас есть для этого серьезные основания. Быть может, важнейшее из них отметил Андрей Белый в своей первой статье о Ходасевиче: духовность, по Белому, выделяет стихи

Ходасевича среди стихов прочих поэтов тех лет, которые — в лучшем случае — только душевны, т. е. метафоричны, предметны, пестры; в худшем — суетны. Ходасевич идет «до последней черты правдивейшего отношения к себе как к поэту», и его итог — «откровение духовного мира» (А. Белый). Не к требованию ли духовности сводится основной эстетический запрос в последней четверти XX века? Если слова Андрея Белого верны, то Ходасевич — наш современник.

Но духовно-эстетический запрос вечен, а его сегодняшняя острота временна: она вызвана духовным голодом предшествовавших десятилетий. Поэтому, вероятно, Ходасевич будет осознан как современник и нашими отдаленными потомками, пусть в меньшей мере, чем нами; и они, надо думать, увидят, что «самоновейшее время не новые черты поэзии вечной естественно подчеркнуло; и ноты правдивой поэзии, реалистической (в серьезнейшем смысле) выдвинуло как новейшие ноты» (А. Белый).

Духовное противостоит в человеке телесному, преодолевает и, в конечном итоге, отрицает телесное. Но это противостояние — результат длительного и мучительного опыта; самое разъединение двух составляющих человека начал есть признак зрелости, оно рождается из страданий. Поэтому Ходасевич, как правило, непонятен молодым читателям. Молодость сторонится страданий; она синкретична, дух и плоть сливаются в ней под знаком плоти. Иллюзия новизны — упругие мысли, энергичные слова — заслоняют от нее сущностное виденье мира. Что скажут двадцатилетнему читателю такие вот ненавязчивые строки:

Безветрие, покой и лень,
Но в ясном свете
Откуда же ложится тень
На руки эти?
Не ты ль еще томишь, не ты ль,
Глухое тело?
Вон — белая взметнулась пыль
И полетела.
Взбирается на холм крутой
Овечье стадо…
А мне — айдесская сквозь зной
Сквозит прохлада.

Айдесская прохлада, пронизывающая каждую точку поэтического пространства Ходасевича с середины 1910-х годов, — не только предчувствие смерти, вызванное ранней зрелостью:

она — присутствие вневременной и внепространственной субстанции, ее живое дыхание. В этом многозначительном символе я вижу ключ к пониманию жизни и творчества поэта.

Однозначного отношения к Ходасевичу не установилось, и здесь кроется одновременно причина и следствие его жизнеспособности. Поэзия живет пристрастиями и вряд ли нуждается в табели о рангах. Крайности в оценках часто закрывают читателям доступ к поэту. Но вполне отказаться от оценок нельзя. Нельзя отрицать существования некоего первого ряда русских поэтов, сонма дорогих теней, вызывающих айдесский ветер, приводящих в движение целые пласты нашего сознания — и сообщающих смысл словосочетанию: русская поэзия. И вот к этому — не вполне очерченному — первому ряду, с полной убежденностью (и пристрастием), я и отношу Ходасевича. Там, «в тех садах за огненной рекой» (здесь и далее в кавычках, не снабженных ссылкой, приводятся цитаты из стихов и прозы Ходасевича), он как равный выдерживает соседство с Блоком и Кузминым, Ахматовой и Мандельштамом.

Моя изгнанница вступает
В родное, древнее жилье
И старшим братьям заявляет
Равенство гордое свое,

— скажет поэт о своей душе-Музе в 1922 году.

Современники спорили о месте Ходасевича на русском Парнасе и не согласились. Отметим два крайних мнения: Ходасевич — лучший поэт серебряного века (София Парнок, Максим Горький, Борис Поплавский); Ходасевич — не поэт вовсе (Н. Асеев). Спор был подхвачен потомками, но в советское время его чистоту нарушили идеологические соображения. Включаясь в спор, отметим, что для изучения Ходасевича вообще сделано очень мало. Попытка собрать вместе все его стихи предпринимается, по существу, впервые. (Настоящий очерк был приложен к подготовленному автором двухтомнику Ходасевича, вышедшему в Париже в 1983 году.) Едва ли не впервые пишется и его биография, в основу которой кладем разрозненные фрагменты и сколки воспоминаний, свидетельства часто противоречивые и тенденциозные. Многое в жизни поэта удастся прояснить лишь в неопределенном будущем, но многое может быть узнано или невосполнимо утрачено лишь в наши дни: последние из людей, близко знавших поэта, уже очень немолоды. Между тем, его творческая судьба, его опыт приобрели для нас к середине 1970-х годов остроту, которой не могло быть прежде, и

нуждаются в скорейшем переосмыслении. Необходимо вспомнить Ходасевича во всей мыслимой полноте.

При жизни поэта, с 1908 по 1927, вышло пять книг его оригинальных стихов, содержащих всего 191 стихотворение. Это, по русским масштабам, совсем немного. Нам удалось прибавить к ним еще 56 законченных стихотворений и набросков, а также 44 перевода, из которых 8 — большие поэмы, и значительное число стихотворных вкраплений в переведенную им прозу.

Но если даже вообразить, что большая часть сохранившегося поэтического наследия Ходасевича будет утрачена или отвергнута, он и тогда сохранит свои права на нашу благодарную память — как литературовед, мемуарист, критик, переводчик. В каждом из этих своих качеств он был незауряден. Им написано около трехсот литературных статей, на его счету открытия в пушкиноведении. Он оставил нам «образцы той критической мысли и того критического стиля, которых так мало всегда было в нашей литературе и которые сейчас ушли из нее вовсе» (Н. Н. Берберова). Проницательная литературоведческая мысль не оставляет Ходасевича и в его воспоминаниях: они естественно переплетаются с исследованием. Здесь, кроме того, обнаруживается его редкая наблюдательность и удивительное знание человеческой природы, — то особое знание, которое немыслимо без любви к людям. Если отличительная черта лучших стихов Ходасевича — духовность, то в прочих его трудах особенно рельефно выступает их добросовестная сдержанность — столь же неотъемлемая черта его стиля, его таланта. В 1939 году, в самый год смерти поэта, вышла книга его воспоминаний Некрополь, быть может, лучшее из написанного о серебряном веке; вот предисловие к ней, в высшей степени характерное:

Собранные в этой книге воспоминания о некоторых писателях недавнего прошлого основаны на том, чему я сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах. Сведенья, которые мне случалось получать из вторых или третьих рук, мною отстранены. Два-три незначительных отступления от этого правила указаны в тексте.

Духовность и сдержанность нерасторжимо сплавлены в творчестве Ходасевича. Этот сплав высоко ценили великие писатели прошлого, но в кругу литераторов начала XX века, с их тягой к непомерному, с их поспешным и часто невразумительным вдохновением, — он выглядел по меньшей мере необычным. Литературная разнузданность стала в те годы едва ли не симптомом таланта, и это соответствие, осев в обывательском сознании, удержалось в нем и до наших дней… Два отмеченных нами качества — лишь края спектра творчества Ходасевича.

Заключенную между ними смысловую гамму лучше всего рассматривать во временной развертке, выслушивая попутно всех тех, кто пожелает высказаться; мы, как уже сказано, должны вспомнить Ходасевича: имя, которым по праву могла бы гордиться Россия, ею в настоящее время полузабыто.

* * *

Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим.

Пушкин. Опровержение на критики.

Можно выделить три основных (и неразрывно связанных) причины последовательной неблагодарности соотечественников замечательного поэта. Первое: Ходасевич умер в эмиграции. Как и очень многие, он не был врагом революции вообще, но не мог принять конкретных форм ее воплощения.

Немало доброго принесла революция. Но все мы знаем, что вместе с войной принесла она небывалое ожесточение и огрубление во всех без исключения слоях русского народа. Целый ряд иных обстоятельств ведет к тому, что как бы ни напрягали мы силы для сохранения культуры — ей предстоит полоса временного упадка и помрачения.

Ходасевич. Колеблемый треножник, 1921.

Он был культурным, а не политическим эмигрантом. Ориентация на вечные ценности ограждала его от сомнений, отчаянья, злобы. Пожалуй, трудно назвать другого писателя эпохи первой эмиграции, с таким спокойным достоинством сносившего тяготы своего добровольного изгнания. Советская литература с неудовольствием вспоминает Ходасевича еще и потому, что вместе с ним встают в памяти и тщательно маскируемые факты, уничтожающие весь зарубежный фрагмент агиографии Горького, также бывшего эмигрантом.

Второе: Ходасевич был и навсегда останется поэтом для немногих. Он искал читателя, в чем-то главном равного себе. Сознательно сторонясь спекулятивных моментов в искусстве, он не хотел ни удивлять, ни мистифицировать читателя. Высокомерие, ошибочно усматриваемое в такой позиции, в

соединении с крайним — поистине пушкинским — индивидуализмом Ходасевича, дали советской критике зыбкий, но желанный повод назвать его декадентом.

Третье: его независимость. В одиночку, не опираясь ни на кого из своих современников, руководствуясь только своим внутренним голосом, проделал он свой путь в жизни и в искусстве. Он не склонил головы перед народными кумирами своего времени — в том числе и перед теми, от которых целиком зависела его посмертная судьба на родине. Уже в начале 1900-х не было литератора, в большей мере свободного от групповых и партийных интересов, от политических и литературных гримас эпохи. Несколько позже, в 1923 году, он прямо установит свою политическую независимость в следующем программном стихотворении (где, между прочим, предугаданы вторая мировая война и породившие ее ужасы тоталитаризма):

Сквозь облака фабричной гари
Грозя костлявым кулаком,
Дрожит и злится пролетарий
Пред изворотливым врагом.
Толпою стражи ненадежной
Великолепье окружа,
Упрямый, но не осторожный,
Дрожит и злится буржуа.
Должно быть, не борьбою партий
В парламентах решится спор:
На европейской ветхой карте
Все вновь перечеркнет раздор.
Но на растущую всечасно
Лавину небывалых бед
Невозмутимо и бесстрастно
Глядят историк и поэт.
Людские войны и союзы,
Бывало, славили они.
Разочарованные Музы
Припомнили им эти дни —
И ныне, гордые, составить
Два правила велели впредь:
Раз: победителей не славить.
Два: побежденных не жалеть.

Позиция эта, естественно, сделала его архаистом в глазах представителей всех современных ему школ — зато приблизила к нам. Независимость в литературе вообще всегда означает

некоторый пассеизм (этот термин в связи с Ходасевичем употребил в 1914 году Георгий Чулков), поиск точки опоры в прошлом, без которого равно непонятны настоящее и будущее. Чем глубже в прошлое проникает осмысляющий взгляд художника, тем жизнеспособнее и долговечнее его творчество.

Видно, что все три причины забвения поэта имеют одну природу. Каждая из них нашла свой пласт в современном русском обществе. Если первая оказалась решающей для литературных чиновников и их ведомственных кураторов, то вторая и третья оттолкнули нетребовательного читателя, людей либо с вовсе неразвитым литературным вкусом, либо со вкусом извращенным, эстетов, ждущих от поэзии лишь экстравагантных и сиюминутных ребячеств.

* * *

Не матерью, но тульскою крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна…

Ходасевич. Тяжелая лира.

16(28) мая 1886, в Москве, у мещанина Гостиной Слободы, «купца по нужде» и польского уроженца во втором поколении Фелициана Ивановича Ходасевича и его жены Софии Яковлевны, урожденной Брафман, родился шестой ребенок, сын, крещенный двойным именем Владислав-Фелициан. Это событие было засвидетельствовано записью №78 за 1886 год в метрической книге московской римско-католической церкви Петра и Павла. Крещение состоялось 28 мая (9 июня). Его совершил викарий Стефан Овельт, бывавший в семье Ходасевичей: поэт упомянет его впоследствии среди самых первых впечатлений детства.

Ф. И. Ходасевич в молодости готовился стать художником: занимался у Ф. Бруни в Академии художеств в Петербурге; однако, женившись, открыл в Туле фотографический магазин — возможно, восприняв дело от тестя, Я. А. Брафмана, свою головокружительную карьеру начавшего бродячим фотографом; в дальнейшем, в Москве, при магазине была еще и картинная галерея. О деде поэта по отцу, Яне (Иване) Ходасевиче известно

лишь, что он был в числе участников польского восстания 1863 года, а затем — в эмиграции или ссылке. Примечательной фигурой был дед поэта по матери, Яков Александрович Брафман, памфлетист, известный своими нападками на евреев. Его главный труд, Книга Кагала (1869), откровенно недобросовестный очерк, основная идея которого — опасность еврейского самоуправления, пользовался большой популярностью в царствование императора Александра II, способствовал росту антисемитизма, а его автору, бедному выкресту, доставил кресло действительного члена Императорского географического общества.

Родители Владислава Ходасевича происходили из Литвы, русский язык в семье перемежался с польским, Мицкевич соседствовал с Пушкиным. В 1934, в статье, посвященной столетию поэмы Пан Тадеуш, Ходасевич рассказывает о своем детстве:

Несколько впечатлений, которые мне сейчас вспоминаются, относятся к самой ранней поре моей жизни, к тому времени, когда я еще не ходил в детский сад, с которого началось мое, уже безвозвратное, обрусение.

По утрам, после чаю, мать уводила меня в свою комнату. Там, над кроватью, висел в золотой раме образ Божьей Матери Остробрамской. На полу лежал коврик. Став на колени, я по-польски читал Отче наш, потом Богородицу, потом Верую. Потом мне мама рассказывала о Польше и иногда читала стихи…

Ходасевич, нежно любивший мать, не стал, однако, ревностным католиком. Едва ли не единственное упоминание о посещении им храма находим в его же юношеском стихотворении Осень (1907):

Свет золотой в алтаре,
В окнах — цветистые стекла.
Я прихожу в этот храм на заре…
. . . . . .
Светлое утро. Я в церкви. Так рано.
Зыблется золото в медленных звуках органа,
Сердце вздыхает покорней, размерней,
Изъязвленное иглами терний,
Иглами терний осенних…
Терний — осенних.

Здесь, возможно, описан памятный Ходасевичу с детства костел в Милютинском переулке в Москве. В зрелые годы поэт предстает нам деистом, с интересами и устремлениями, обращенными к веку просвещения (притягательному для него,

быть может, и своей катастрофичностью, столь щедро отметившей и начало XX века). И все же строгое религиозное воспитание наложило несомненный отпечаток не только на весь его человеческий облик, но и на творчество. Он не порвал с родительской верой — «и похоронен в Париже по католическому обряду…», — добавляет Зинаида Шаховская (Отражения. ИМКА-Пресс, 1975).

Семья Ф. И. Ходасевича была состоятельной, но небогатой. Ее переезд в Москву, т.е. перенос фотографического салона, произошел не позднее 6 сентября 1902, когда предписанием Московской казенной палаты Фелициан Ходасевич с семейством был причислен в московские мещане из московского 2-й гильдии купечества; фактический же переезд состоялся гораздо раньше, и детские годы Ходасевича протекли в Москве. Есть указания на то, что дела у главы семьи шли к этому времени не блестяще. Так, когда в 1905 году, в связи с предстоящей женитьбой поэта, университетское начальство затребовало от его родственников письменное обязательство оказывать ему, пока он остается студентом, материальную помощь, то выдал таковое не отец, а старший брат Ходасевича, известный уже в эти годы московский юрист, присяжный поверенный Михаил Фелицианович; он был на двадцать один год старше своего подопечного. В 1928, в стихотворении Дактили, Ходасевич скажет об отце: «Тех пятерых прокормил — только меня не успел».

Сохранилась конспективная запись основных событий и впечатлений жизни поэта, начиная с младенчества, сделанная им в 1922 по просьбе его третьей жены Н. Н. Берберовой, — «канва автобиографии», по ее выражению (В книге: Н. Н. Берберова. Курсив мой. Автобиография. Мюнхен, Центрифуга, 1972, с.168-171).

Из нее видно, что читать Ходасевич научился в 1889, в возрасте трех лет. В 1890-91, побывав на балете Конек-горбунок, увлекся танцами, — воспоминание об этом времени сообщит впоследствии щемящую прелесть одному из лучших его стихотворений Перед зеркалом (1924). Первые стихи он написал семи лет, зимой 1893 года. В 1895-м переболел черной оспой, не оставившей следов на лице. В 1896-м поступил в 3-ю московскую гимназию, в 1904 окончил ее.

К 1903 году относится ремарка: «Стихи навсегда» — вместе с упоминанием о первой серьезной любви.

В 1902-м, шестнадцатилетним юношей, Ходасевич включился в литературную жизнь Москвы. В эти годы литература в образованном обществе волновала всех, а в ней, усилиями модернистов, полное преобладание получила поэзия. Проза, как и

всегда бывает в периоды общественного подъема, отступила на задний план. Зато интерес к поэзии был такой, какого Россия не знала уже восемьдесят лет. Литературная эпоха, современниками и потомками названная декадансом, была проникнута духом творчества, часто несколько лихорадочного и поспешного, взбудоражена перспективами неслыханного обновления и необыкновенно богата талантами. Общество чувствовало себя помолодевшим и требовало стихов. Оно их получало в изобилии, притом стихи эти обладали всеми качествами молодого вина. В Москве центром притяжения сделался Литературно-художественный кружок, нечто вроде открытого клуба литераторов, — с эстрадой, местами для публики, а также рестораном и игорным залом. Он просуществовал до 1917. По вторникам там устраивались литературные чтения, о которых говорила вся Москва. С докладами выступали Бальмонт, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Мережковский, Венгеров, Айхенвальд, Чуковский, Волошин, Чулков, Городецкий, Измайлов, Бердяев, Маковский. Гимназистов в кружок не пускали, и Ходасевич, бывший осенью 1902-го учеником 7-го — предвыпускного — класса, ходил туда нелегально (для чего пришлось сшить специальный костюм). В первое его посещение докладчиком был Брюсов, а темой — поэзия Фета. Певца бледных ног приняли насмешливо: звездный час символизма был еще впереди.

Весь этот год прошел для Ходасевича «под знаком Бальмонта»:

Я вспоминаю прозрачную весну 1902 года. В те дни Бальмонт писал «Будем как солнце» — и не знал, и не мог знать, что в удушливых классах 3-й московской гимназии два мальчика: Гофман Виктор и Ходасевич Владислав читают, и перечитывают, и вновь читают и перечитывают всеми правдами и неправдами раздобытые корректуры скорпионовских «Северных Цветов». Вот впервые оттиснутый «Художник-дьявол», вот «Хочу быть дерзким», которому еще только предстоит стать пресловутым, вот «Восхваление Луны», подписанное псевдонимом: Лионель.

Читали украдкой и дрожали от радости. Еще бы. Шестнадцать лет, солнце светит, а в этих стихах целое откровение. Ведь это же бесконечно ново, прекрасно, необычайно!.. А Гофман, стараясь скрыть явное сознание своего превосходства, говорит мне: «Я познакомился с Валерием Брюсовым». Ах, счастливец!

Ходасевич. О новых стихах (…), — Газета Утро России, 1916, №127, 7 мая, с. 5.

Брюсов сыграл заметную роль в жизни Ходасевича. Судьба столкнула их в 1902-м, развела в 1921-м. Ходасевич оказался в сфере притяжения главы символистов, и современники еще долго, до самой середины 1910-х годов, относили его к «лагерю Брюсова». Между тем в действительности их сближение (конечно, имевшее в своей основе схему учитель-ученик, единственно возможную между Брюсовым и одним из младших) было недолгим, а отношения с начала и до конца отличались крайней напряженностью. Андрей Белый в своих воспоминаниях отмечает, что Брюсов не сразу признал в Ходасевиче поэта, но затем быстро исправил свою ошибку.

Ходасевич, со своей стороны, прекрасно понимал истинное значение Брюсова. В неопубликованном письме к поэту А. И. Тинякову* (весна 1915-го) он пишет: «О Брюсове я с Вами не совсем согласен. Он не бездарность. Он талант, и большой. Но он — маленький человек, мещанин, — я это всегда говорил. Потому-то, при блестящем "как" его "что" — ничтожно…».

* ***Александр Иванович Тиняков (1886-1922) — поэт и литературный критик, автор двух стихотворных сборников.***

Еще раньше, в 1914-м, в обзорной статье Русская поэзия, Ходасевич называет Зеркало теней Брюсова «все же прекрасной и значительной книгой». Но к литературным отношениям примешивались личные, и Брюсов, в отличие от Ходасевича, не умел отделять первые от вторых. Обид он не забывал и не прощал. Одно из самых тяжелых столкновений произошло в 1910 году, когда Ходасевичу пришлось взять на себя неблагодарную роль посредника между Брюсовым и Ниной Петровской **, давней своей приятельницей, тогдашней любовницей Брюсова.

** ***Нина Ивановна Петровская (1884-1928) — беллетристка, жена С.Соколова-Кречетова, поэта и владельца издательства Гриф; одна из характернейших и трагических фигур символизма. Прототип Ренаты из Огненного ангела Брюсова, подруга Бальмонта, А. Белого и Брюсова, она покончила с собой в Париже, отравившись газом. Незадолго до самоубийства жила несколько дней в квартире Ходасевича и Берберовой на улице Ламбларди 14. Ходасевич назвал ее истинной жертвой декадентства.***

Я знал и видел страдания Нины и дважды по этому поводу говорил с Брюсовым. Во время второй беседы я сказал ему столь оскорбительное слово, что об этом он, кажется, не сказал даже Нине. Мы перестали здороваться. Впрочем, через полгода Нина сгладила нашу ссору. Мы притворились, что ее не было.

Ходасевич. Брюсов, 1924.

Месть последовала одиннадцать лет спустя: в 1921 году Брюсов морил голодом тяжело больного Ходасевича, препятствуя переводу его писательского пайка из Москвы в Петербург: «… препятствием была некая бумага, лежавшая в петербургском академическом центре. В этой бумаге Брюсов конфиденциально сообщал, что я — человек неблагонадежный. Примечательно, что даже "по долгу службы" это не входило в его обязанности…» (Некрополь). Таким же — «экономическим», по выражению Ю. И. Айхенвальда ***, — образом сводил Брюсов счеты и с другими писателями.

Его человеческий облик достаточно известен.

Литературное влияние Брюсова на раннего Ходасевича было невелико. По стихам оно почти не прослеживается, косвенно же выразилось в эпиграфе к единственному сонету (1907) из книги Молодость, да в стихотворении На седьмом этаже (1914) с учтивым подзаголовком Подражание Брюсову, — стихотворении неудачном и в сборники не входившем.

*** ***Юлий Исаевич Айхенвальд (1872-1928) — критик и эссеист. Выслан в Берлин в конце лета 1922 года, в числе других литераторов и ученых. В списках подлежащих высылке был и Ходасевич.***

В мае и июне 1904-го Ходасевич сдает выпускные экзамены на аттестат зрелости, все — с оценкой хорошо. Не был исключением и предмет, по которому он, как отмечено в этом документе, проявил особую любознательность: русский язык с церковно-славянским и словесность. Преподавал эту дисциплину В. И. Стражев, поэт, принадлежавший, как и Ходасевич, к кругу издательства Гриф. Учитель с неудовольствием и ревностью наблюдал за литературными опытами ученика и был особенно придирчив в классе. Но вскоре их отношения принимают другой характер. Еще в гимназические годы Ходасевича в литературных кругах Москвы складывается весьма лестная для него репутация, и строгий наставник не считал для себя унизительным в иных случаях искать поддержки и чуть ли не покровительства ученика.

В 1914 у Брюсова, на одной из знаменитых сред, где «творились судьбы если не всероссийского, то во всяком случае московского модернизма», новоиспеченный студент юридического факультета Владислав Ходасевич знакомится с Андреем Белым. «Я далеко не разделял всех воззрений Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал», — скажет Ходасевич много лет спустя. В этом высказывании центр тяжести приходится все же на первый тезис. Хотя еще И. Ф. Анненский предположил связь ранних стихов

Ходасевича со стихами Белого, но уже к концу 1900-х годов два молодых поэта предстают нам, по существу, эстетическими противниками: старший — модернистом, младший — традиционалистом. Тем не менее, они подружились. Литературным итогом их девятнадцатилетней дружбы являются две дифирамбические статьи Белого о стихах Ходасевича, исследование Ходасевича Аблеуховы-Летаевы-Коробкины (1927) и его же статья Андрей Белый (1938) — блестящие, исполненные тонкого психологизма и удивительной наблюдательности воспоминания, вошедшие затем в Некрополь. Вот характеристическая выдержка из них:

По некоторым причинам я не могу сейчас рассказать о Белом все, что о нем знаю и думаю. Но и сокращенным рассказом хотел бы я не послужить любопытству сегодняшнего дня, а сохранить несколько истинных черт для истории литературы, которая уже занимается, а со временем еще пристальнее займется эпохой символизма вообще и Андреем Белым в частности. Это желание побуждает меня быть сугубо правдивым. Я долгом своим (не легким) считаю — исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому «возвышающему обману» хочется противопоставить нас возвышающую правду. Надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. От нас он требует гораздо более трудного: полноты понимания.

Этот фрагмент можно рассматривать как эпиграф ко всем трудам Ходасевича мемуарного характера. Не только Белый, но и другие его современники — Брюсов, Горький, Есенин, Сологуб, Блок, Гумилев, Гершензон, Маяковский, вся эпоха символизма (преимущественно московского, с Ниной Петровской на его авансцене и С. В. Киссиным-Муни вблизи кулис) — не могут быть в наши дни достаточно поняты без этих правдивых и взыскательных воспоминаний.

Дружба с Андреем Белым, долгая и плодотворная, оборвалась в конце 1923, на закате «русского Берлина», на общем прощальном обеде разъезжающихся писателей, — и оборвалась ссорой. Н. Н. Берберова вспоминает:

8-го сентября… был многолюдный прощальный обед. И на этот обед Белый пришел в состоянии никогда мною не

виданной ярости. Он почти ни с кем не поздоровался… он потребовал, чтобы пили за него, потому что он уезжает, чтобы быть распятым. За кого? За всех вас, господа… Он едет в Россию, чтобы дать себя распять за всю русскую литературу, за которую он прольет свою кровь.

— Только не за меня! — сказал с места Ходасевич тихо, но отчетливо в этом месте его речи. — Я не хочу, чтобы вас, Борис Николаевич, распяли за меня. Я вам никак не могу дать такого поручения.

Белый поставил свой стакан на место и глядя перед собой невидящими глазами заявил, что Ходасевич всегда и всюду все поливает ядом своего скепсиса и что он, Белый, прерывает с ним отношения. Ходасевич побледнел. Все зашумели, превращая факт распятия в шутку… Но Белый остановиться уже не мог: Ходасевич был скептик…, Бердяев — тайный враг, Муратов — посторонний, притворяющийся своим… С каждой минутой он становился все более невменяем…

Белый уезжал в Москву: в эмиграции у него не было больше аудитории, в России — еще оставалась. Дружба с эмигрантами и полуэмигрантами («выбеженцами», как называл их — и себя — В. Шкловский) могла быть поставлена ему в вину, и он рвал заграничные связи, притом не всегда корректно.

* * *

Ходасевич так и не получил высшего образования. Отучившись год на юридическом факультете Императорского московского университета, осенью 1905-го он переводится на историко-филологический факультет — вновь на первый курс. Отсюда после второго курса он был уволен как не внесший платы (в размере 25 рублей) за осеннее полугодие 1907-го. Причиной его материальных трудностей почти наверное явились карточные долги, размер же этих трудностей и вообще финансовый статус Ходасевича в эти годы остаются неясными. Во всяком случае еще в апреле 1907-го, задолжав 28 рублей за квартиру, он оставляет дом Голицына в Б. Николо-Песковском переулке и уезжает — в Рязань, если верить данным паспортного стола. Это было форменное бегство. Розыск недоимщика, предпринятый приставом 2-го участка Пречистинской части Москвы, длился до сентября и не дал результатов, показав лишь, что в Рязани Ходасевич не был. Между тем, это был 1907 год, во многом

решительный в жизни поэта: им помечены 33 из 34 стихотворений его первой книги. Выпустив ее (и, вероятно, рассчитавшись с долгами), он в октябре 1908-го вновь возвращается к занятиям, на этот раз на три полных семестра, — и вновь увольняется по безденежью. Третья и последняя попытка получить диплом была сделана осенью 1910-го. Ходасевич восстановился — на юридическом факультете, но, не проучившись и семестра, был уволен по старой причине — хотя и с новой формулировкой: за невзнос части платы в пользу преподавателей. Наконец, в мае 1911-го он окончательно забирает свои документы из университета.

Единственным его поприщем остается литература.

* * *

Ровесник Гумилева, Ходасевич и печататься начал одновременно с ним: в 1905-м. Но, в отличие от петербуржца, начал он преимущественно как литературный критик и лишь затем как поэт. В годы с 1905 по 1907 появилось около двадцати его критико-библиографических заметок — и всего пять стихотворных публикаций: «…стихами не проживешь, особенно моими: пишу я по 15 в год», — отметит он в конце 1914-го, в неопубликованном письме к А. И. Тинякову. Некоторые из первых его заметок, обычно содержащие отрицательный отзыв, подписаны псевдонимом Сигурд, заимствованным из драмы Зыгмунта Красинского (1812-59) Иридион, — здесь угадывается не только интерес Ходасевича к польской классике, но и память поэта о своем инородчестве в России. Он сотрудничает в журналах Искусство (1905), Золотое Руно (1906), Перевал (1906-1907), многие из участников которых, представители второй волны символизма, группировались тогда вокруг издательства С. А. Соколова-Кречетова Гриф. В начале 1908 в этом издательстве тиражом 500 экземпляров выходит и первая книга стихов Ходасевича Молодость. Последовали две рецензии: пространная, хвалебная, хотя и с несколькими резкими замечаниями, — в журнале Русская мысль (В. Гофман), и беглая, сдержанно-поощрительная — в Весах (В. Брюсов). Оба рецензента сопоставляют Молодость с Романтическими цветами Гумилева: первый отдает предпочтение Ходасевичу, второй — Гумилеву. Оба, говоря о Ходасевиче, отмечают неожиданно старческие интонации в лирике молодого поэта — легкую, еще не опознанную ими и самим поэтом сень айдесской прохлады, знак ранней духовной зрелости. Следующие строки в открывающем сборник стихотворении, с их явной антиромантической направленностью:

В моей стране — ни зим, ни лет, ни весен.
Ни дней, ни зорь, ни голубых ночей.
Там круглый год владычествует осень,
Там — серый свет бессолнечных лучей.
Там сеятель бессмысленно, упорно,
Скуля как пес, влачась как вьючный скот,
В родную землю втаптывает зерна –
Отцовских нив безжизненный приплод,

— несомненно, должны были прозвучать диссонансом в год

мгновенного торжества символизма. «Кое-что в книге должно быть отнесено к общим, бесконечно захватанным и засиженным местам русского модернизма» (В. Гофман), но — лишь немногое: классицистическая струя оказывается в ней, несомненно, более мощной и убедительной. «У В. Ходасевича есть… острота переживаний… Эти стихи порой ударяют больно по сердцу, как горькое признание, сказанное сквозь зубы и с сухими глазами…» (В. Брюсов).

Вот портрет поэта, набросанный почти сразу после выхода Молодости одним из близко наблюдавших его современников:

Тонкий. Сухой. Бледный. Пробор посредине головы. Лицо серое, незначительное, изможденное. Только темные глаза играют умом, не глядят, а колют, сыплют раздражительной проницательностью. Совсем — поэт декаданса! …в нем, действительно, как-то странно и привлекательно сочетаются — физическая истомленность, бледность отцветшей плоти с пряной, вечно пенящейся, вечно играющей жизнью ума и фантазии.

Как в личности, так и в творчестве, в поэзии В. Ходасевича странно и очаровательно сплетаются две стихии, два начала: серость, бесцветность, бесплотность — с одной стороны, и грациозно-прозрачная глубина, кокетливо-тонкая острота переживаний… — с другой стороны… В. Ходасевич не из тех поэтов, которые могут надумывать свои стихи, их содержание, их идеи, их образы. В. Ходасевич — лирик чистой воды. К нему должно прийти вдохновение… В дни, когда в поэзию вторглись крикуны и ломаки, когда господствующим принципом в искусстве стал принцип — «чем неестественней, тем лучше» — творчество В. Ходасевича отражает интимность, искренность, глубину душевных переживаний.

Его по полному праву надо назвать «певцом любви». Но каким певцом и какой любви! такая любовь не может и не хочет знать счастливой развязки…

А. Тимофеев. Литературные портреты. II. В. Ходасевич. — Руль, №87, 23 апреля 1908, с.2

Автору Молодости всего двадцать один год. Разумеется, большинство стихов этой книги навеяно эротической музой. «Тщедушный, болезненный, желчный человек (Дон Аминадо **** говорил, что его в России ***** прозвали «муравьиный спирт»), пользовавшийся в молодости большим успехом у женщин» (З. Шаховская), Ходасевич женился в возрасте неполных девятнадцати лет, т. е. более чем за два года до своего совершеннолетия.

**** ***Дон Аминадо (Аминад Петрович Шполянский,***

1885-1957) — поэт, юморист и сатирик, автор четырех книг стихов и двух книг мемуаров, эмигрант.

******** Ср.: «Еще в Берлине Виктор Шкловский сказал о Ходасевиче, что у него вместо крови — муравьиный спирт…» (В. Андреев. Возвращение в жизнь. — Звезда, 1969, № 6).***

Сохранилась копия брачного свидетельства, согласно которой 24 апреля 1905 в московской Николаевской, при Румянцевском музее, церкви он был «повенчан… с усыновленной (sic!) дочерью полковника Мариной Эрастовной Рындиной, 18 лет от роду, православною…». Несовершеннолетие поэта обусловило множество курьезных формальностей. Потребовались: разрешение его родителей, разрешение полковника Э. И. Рындина, свидетельство о политической благонадежности невесты (подписанное новгородским губернатором), обязательство брата поэта, присяжного поверенного М. Ф. Ходасевича, оказывать материальную помощь жениху и, наконец, разрешения ректора университета и попечителя московского учебного округа. Мариэтта Шагинян, опираясь на рассказ самого Ходасевича, называет его свадьбу великолепной, — была же свадьба скорее литературной: посаженным отцом был Брюсов, «а шафером "примазался" издатель "Грифа" Соколов-Кречетов, и он, Ходасевич, тут же на свадьбе сложил на него эпиграмму:

Венчал Валерий Владислава,
— И "Грифу" слава дорога!
Но Владиславу — только слава,
А "Грифу" — слава да рога.

Намек на Нину Петровскую, жену "Грифа" и "спутницу" Брюсова…»

(М. Шагинян. Человек и время. — Новый мир, 1973, №5, с.163-164).

Намек оказался неосмотрительный. Ближайшее будущее повернуло эту злую шутку против Ходасевича, поставило его в положение «Грифа».

Современники упоминают о фантастической красоте и столь же фантастической эксцентричности Рындиной. Рассказывают, что однажды она въехала верхом в гостиную отцовской усадьбы Лидино (находившейся возле станции Бологое), а уже будучи замужем, держала у себя в качестве домашних животных жаб и ужей. Ее потребность в эпатаже простиралась до скандального: как-то, на одном из московских костюмированных балов, она явилась голой, с вазой в форме лебедя в руках: костюм

символизировал Леду и Лебедя. Вскоре после «великолепной свадьбы» видим ее любовницей, а затем, после развода с Ходасевичем, и женой редактора Аполлона, поэта С. К. Маковского. Точную дату ее разрыва с Ходасевичем находим в «канве автобиографии» (заметках поэта, сделанных для Нины Берберовой): «1907 — …30 декабря разъезд с Мариной…». Кажется, Ходасевич тяжело переживал этот разрыв:

А если снова, под густой вуалью,
Она придет и в двери постучится, –
Как стыдно будет спящим притвориться
И мирных дней не уязвить печалью!
[1908]

С посвящением Марине выходит в 1908 году Молодость.

Последний отзвук этой несчастной любви чуть слышен в Некрополе. Осенью 1918, когда Горький организовал известное издательство Всемирная литература, Ходасевича вызвали в Петроград и предложили заведовать московским отделением «этого предприятия». В Петрограде Ходасевич познакомился с Гумилевым: «Он пригласил меня к себе и встретил так, словно это было свидание двух монархов». По стечению обстоятельств Гумилев занимал в эти дни квартиру Маковского. Его кабинет был обставлен мебелью, некогда бывшей в Лидине, — особой, корабельной мебелью, снятой с корабля еще адмиралом Ф. Ф. Матюшкиным, лицейским товарищем Пушкина:

В 1905 г. я сделался случайным полуобладателем этой мебели и вывез ее в Москву. Затем ей суждено было перекочевать в Петербург, а когда революция окончательно сдвинула с мест всех и все, я застал среди нее Гумилева. Ее настоящая собственница [т.е. М. Рындина] была в Крыму.

Даже и здесь, в своих воспоминаниях, написанных в 1931 в Париже, Ходасевич не называет М. Э. Рындину и не приподнимает завесы над этим столь давним и безвозвратно пережитым прошлым.

Картина лет, связанных с Мариной и предшествовавших выходу первой книги, будет неполна, если не отметить зарождения у Ходасевича еще одной, глубокой и на всю жизнь сохранившейся страсти — страсти к картам. Об этом аристократическом занятии он скажет в 1937 году:

…азартная игра, совершенно подобно поэзии, требует одновременно вдохновения и мастерства. … Нередко случалось мне досиживать до такого часа, когда в высоких окнах кружковской залы мутнело зимнее утро или сияло летнее.

Таковы были годы с 1906 по 1910. Карты и пьянство — ключевые слова в автобиографических заметках о том времени. Играл Ходасевич не только в бридж, но и в покер, и «проигрывал больше, чем зарабатывал» (З. Шаховская).

Байрон сказал однажды, что поэт должен быть либо влюблен, либо беден. Вторая из этих двух предпосылок творчества вообще никогда не изменяла Ходасевичу; первая, этот важнейший двигательный стимул эпохи символизма, включалась попеременно и тоже делала свое дело. Историк, желающий проследить жизненный и творческий путь поэта, оказывается перед необходимостью в той или иной мере касаться и его романтических приключений.

У каждой из первых четырех книг Ходасевича есть лирическая героиня, явившаяся на этих страницах воплощением поэтической фантазии, но имевшая реальный прототип. Делая шаг в сторону Счастливого домика, его второй книги стихов, охватывающей годы с 1908 по 1913, мы должны упомянуть Евгению Владимировну Муратову. У Ходасевича она выведена под именем царевны, реже — царицы, и предстает существом пленительно-легкомысленным, эфемерным.

ПОРТРЕТ

Царевна ходит в красном кумаче,
Румянит губы ярко и задорно,
И от виска на поднятом плече
Ложится бант из ленты черной.
Царевна душится изнеженно и пряно,
И любит смех и шумный балаган, –
Но что же делать, если сердце пьяно
От поцелуев и румян?

Эфемерным рисуется и их недолгий роман, фоном для которого в 1911 году явились Венеция и Генуя. Фактические черты Е. В. Муратовой едва различимы. Известно, что она была первой женой П. П. Муратова*.

* ***Павел Павлович Муратов (1881-1950) — историк искусства и эссеист, автор знаменитого сочинения Образы Италии, драматург, беллетрист, переводчик; эмигрант.***

В заметках Ходасевича (в «канве автобиографии») она впервые упомянута в 1910-м, первые связанные с нею стихи относятся к 1909 году. Скрытый и немногословный, особенно там, где дело идет о сердечных привязанностях, Ходасевич в Некрополе говорит лишь о «дурной полосе жизни»», образовавшейся в 1911 году. Фактически же следовало бы

говорить о полосе трагической. Поездка в Италию в июне 1911 была для Ходасевича прощанием с юностью, ее последним всплеском. В течение второй половины этого года, в несколько месяцев, он теряет мать, а затем и отца. Чтобы понять, как много родители значили в его жизни, достаточно прочесть стихотворение Дактили (1928). Притом если Фелициан Иванович умер уже в очень преклонном возрасте, и умер своей смертью (от грудной жабы, в 75 лет), то София Яковлевна, 65-ти лет, погибла от нелепой случайности в самом центре Москвы, на Тверской: сломалась ось везшей ее коляски, и она, упав на мостовую, ударилась головой о чугунную тумбу.

Смерть отца — вообще решительный момент в жизни сына, с нею отпадает естественный, иногда едва уловимый, но всегда важный протекционизм, наступает окончательная взрослость со всеми вытекающими из нее ответственностями. Но возможно, что этими трагическими обстоятельствами не исчерпывался груз, легший в эти дни на поэта. Известно, что Ходасевич был близок к самоубийству — и лишь верность и удивительная интуиция его ближайшего друга С. В. Киссина (Муни) спасли его от этого страшного конца. Разуверение в мирских радостях, опустошенность, постоянные недомогания, отсутствие общественного поприща и твердого заработка (почти единственным источником средств к существованию были переводы для издательств Универсальная библиотека и Польза), — все это делало его будущее более чем непривлекательным. Зиму он провел на даче брата, М. Ф. Ходасевича, в Новогирееве, — верный знак безденежья. В «канве автобиографии» за этот период впервые встречаем ремарку: голод (повторенную затем в ряду характеристик 1913 и 1919 годов); впервые здесь упомянута и Нюра.

Анна Ивановна Гренцион (1886-1967), урожденная Чулкова, была во втором браке за гимназическим приятелем Ходасевича, А. Я. Брюсовым. Оба супруга принадлежали к обширному окололитературному кругу столицы, не оспаривая лавров у своих старших и более известных братьев, Георгия Чулкова и Валерия Брюсова. А. Я. Брюсов выступал в печати под псевдонимом Alexander. Известно и несколько публикаций А. И. Гренцион, в основном это переводы, стихи и проза, также подписанные псевдонимом: София Бекетова. Ровесница Ходасевича, А. Гренцион выглядела моложе своих лет и была очень хороша собой; несколько безалаберная, добрая и ветреная, в жизни она с милой непосредственностью руководствовалась полинезийской формулой: «я живу, и мне весело». Все это был набор качеств, делавших женщину привлекательной для Ходасевича. Труднее

понять, как возникло ответное влеченье. Оставляя А. Я. Брюсова для Ходасевича, Анна Ивановна меняла обеспеченную, беззаботную жизнь, так хорошо отвечавшую ее нехитрым и очень женским запросам, на жизнь бедную, временами и полуголодную, без ясных перспектив. Ходасевич не был ни красив, ни знаменит, ни даже здоров и бодр. Он не мог на ней жениться немедленно: его брак с Мариной был расторгнут лишь в конце 1910 году, и закон требовал истечения полных трех лет для вступления в новый. Тем не менее, с грациозной беспечностью, так остро характеризующей эпоху, собрав лишь самые необходимые вещи (и отправив сына к родителям первого мужа, Е. Гренциона), она переселяется к Ходасевичу.

Для Ходасевича, в его страшном одиночестве, новое супружество явилось, быть может, спасительным. Но вряд ли оно было вызвано сильной страстью; нет и стихов, на это указывающих. Счастливый домик ** выходит в 1914 году с посвящением: «Жене моей Анне»; в этом посвящении — и жест благодарности, и акт закрепления отношений, не освященных церковью.

** ***Название заимствовано из стихотворения Пушкина Домовому. Эта неявная цитата, символизировавшая поворот Ходасевича к горацианскому довольству малым, не была расшифрована современниками поэта.***

Но в единственном (хотя и едва ли не лучшем) стихотворении сборника, которое предположительно можно связать с А. И. Гренцион, поэт называет ее сестрой.

Когда почти благоговейно
Ты указала мне вчера
На девушку в фате кисейной
С студентом под руку, — сестра,
Какую горестную скуку
Я пережил, глядя на них!
Как он блаженно жал ей руку
В аллеях темных и пустых!
Нет, не пленяйся взором лани
И вздохов томных не лови.
Что нам с тобой до их мечтаний,
До их неопытной любви?
Смешны мне бедные волненья
Любви невинной и простой.
Господь нам не дал примиренья
С своей цветущею землей.
Мы дышим легче и свободней

Не там, где есть сосновый лес,
Но древним мраком преисподней
Иль горним воздухом небес.

Это супружество продлится почти десять лет, и хотя очень скоро, с обоюдного согласия, примет форму брака без обязательств, но в его основе с первых дней и в дальнейшем остаются привязанность и взаимопонимание.

В приведенном стихотворении слышен голос зрелого Ходасевича. По силе оно не уступает поздним его стихам и завершается в высшей степени характерной декларацией. Ходасевич как бы накладывает лупу на известные строки Евгения Боратынского: «Две области: сияния и тьмы исследовать равно стремимся мы». Здесь обнаруживается глубокое духовное родство двух поэтов, общность и инвариантность питающего их источника.

Характерная особенность второй книги, и в этом ее отличие от первой, — программное противостояние двум массовым течениям в эстетике, двум знамениям эпохи: романтизму и модернизму, взятым в широком смысле. Это поняли и отметили в своих отзывах М. Шагинян (газета Приазовский край, 1914, № 71) и Г. Чулков (Современник, 1914, № 7) — и проглядел Гумилев (Аполлон, 1914, № 5), но все три рецензента с замечательным единодушием признают и приветствуют музу Ходасевича. Гумилев называет его стихи прекрасными и сравнивает молодого поэта с Анненским и Тютчевым. Чулков говорит об изысканной простоте стихов Ходасевича, «об его отречении от легких соблазнов внешней нарядности», ибо «точность и выразительность, как необходимые условия лирического творчества, интересуют Вл. Ходасевича прежде всего». Особенно значительна рецензия М. Шагинян. В большой статье, явившейся одним из первых откликов на Счастливый домик, она набрасывает очерк литературной жизни столиц эпохи символизма, дает портрет молодого Ходасевича, обзор его первой книги — и делает несколько очень верных наблюдений над второй:

…завсегдатаи [Литературно-художественного] кружка привыкли встречать в нем молодого человека с немного эксцентрической внешностью, высокого [?], болезненно-бледного, с лицом ироническим и значительным. На прениях он не выступал, но все знали его колкое остроумие и его стихи, которые он вскоре собрал в книжку.

…«Молодость» Ходасевича, несмотря на ее совершенно своеобразное, ни на кого не похожее, несколько даже вычурное в

своей намеренной простоте и сухости лицо, принадлежит к созданиям… первого периода нашего «декадентства»)…

Его счастливый домик — это совсем особый домик, в котором следовало бы хоть немного погостить каждому из нас и который мог бы сыграть очистительную роль для наших «воющих персов»», которые сейчас залили все улицы русской литературы и грозят ее будущему…

Эпоха больших слов… отошла; большие вопросы о Боге, о мире, о сущности Прекрасного и т.д., взрыхляли землю, но почти ничем в ней не произросли. …возлюбить малое — трудней, чем возлюбить великое…

Ясный и насмешливый ум поэта, никогда не изменяющий ему вкус к простоте и мере, — стоят на страже его переживаний и не позволяют ему ни поэтически солгать, ни риторически разжалобиться…

Позже, в одном из писем, Ходасевич скажет об этой статье: «…одна М. Шагинян говорила обо мне по существу, понимая меня и мои стихи». Всего в 1914 появилось около пятидесяти отзывов на Счастливый домик: «сплошные восторги — и сплошная чепуха»». Второе и третье (с портретом автора работы Ю. П. Анненкова) издания книги, выпущенные З. И. Гржебиным в 1921-1922, в годы всероссийской известности Ходасевича, принесли еще несколько почтительно-курьезных отзывов пролетарских писателей (Ин. Оксенов и др.), свидетельствовавших более об инертности мысли, чем об успехе этой утратившей актуальность поэзии.

Год 1914, трагический в истории России и Европы, явился, независимо от того, и поворотным годом в жизни Ходасевича: кончилась молодость, вышла вторая из его «юношеских книг». Война придала еще бóльшую законченность прошлому и как бы подвела под ним черту. Заметное место в этом прошлом занимали женщины. Но если те из них, с кем Ходасевича связывала более чем дружба, лишь глухо упомянуты в двух-трех местах его мемуаров (написанных много позже), то писательнице Н. Н. Петровской посвящен замечательный очерк, озаглавленный Конец Ренаты, — работа поистине неоценимая для историков символизма (достаточно сказать, что печально известный Вл. Орлов в своей книге Перепутья, 1976, цитирует из нее целую страницу — не называя автора). Петровской посвящено и стихотворение Sanctus Amor (1907), название которого повторяет название книги рассказов писательницы. Оно очень характерно для Ходасевича, с его «мучительной ранней опустошенностью» (М. Шагинян).

И я пришел к тебе, любовь,
Вслед за людьми приволочился.
Сегодня старый посох вновь
Пучком веселых лент завился.
И как юродивый счастлив,
Смотрю на пляски алых змеек,
Тебя целую в чаше слив,
Среди изрезанных скамеек.
. . . . . .
Но миг один — и соловей
Не в силах довершить обмана!
Горька, крива среди ветвей
Улыбка мраморного Пана.

По словам Ходасевича, «московские болтуны были уверены», что с Петровской его связывала не только дружба. «Над их уверенностью мы немало смеялись и, по правде сказать, иногда нарочно ее укрепляли…»

Пользовался ли Ходасевич успехом у женщин, как говорит об этом Зинаида Шаховская, или только имел его? Горький опыт, вынесенный поэтом из его первого супружества, навсегда снял в его глазах розовый флер с алькова, а с ним — и дразнящий образ идеальной любви, союза души с душой родной, — выдвинув на передний план ее оборотную сторону, роковой поединок.

Вчера под вечер веткой туи
Вы постучали мне в окно.
Но я не верю в поцелуи
И страсти не люблю давно.
[1909]

Уж тяжелы мне долгие труды,
И не таят очарованья
Ни знаний слишком пряные плоды,
Ни женщин душные лобзанья.
[1918]

Не верю в красоту земную
И здешней правды не хочу.
И ту, которую целую,
Простому счастью не учу.
[1922]

И если (редко) женщина приходит
Шуршать одеждой и сиять очами
— Что ж? я порой готов полюбоваться
Прельстительным и нежным микрокосмом…
[1925-1927]

Кажется, китайская мудрость, отдающая предпочтение дружбе перед любовью, была близка рано состарившемуся поэту.

* * *

Маятник ходит размеренно,
Усталых часов властелин.
Угли трещат неуверенно.
Сердце стучит: все потеряно!
Стучит: ты один, ты один!
Муни, 1907.

Самым дорогим ему человеком Ходасевич называет Самуила Викторовича Киссина (1885-1916), поэта, «всей Москве» известного под псевдонимом Муни***, обладателя «замечательных способностей, интуиции порой необычайной».

*** ***На санскрите муни — аскет-молчальник, определение одной из стадий аскетизма. Шакья Муни — одно из имен Будды. Имя Муни носило несколько знаменитых законоучителей иудаизма в Палестине.***

История и характер их дружбы имеют большое значение для понимания Ходасевича.

Мы познакомились в конце 1905 г. … Мы сперва крепко не понравились друг другу, но с осени 1906 внезапно «открыли» друг друга и вскоре сдружились. После этого девять лет, до кончины Муни, мы прожили в таком верном братстве, в такой тесной любви, которая теперь кажется мне чудесною.

Ходасевич. Муни, 1926.

Тесная любовь эта была такова, что на ней стоит остановиться подробнее. Отличительная строгость Ходасевича кристаллизовалась в 1905-1914 под ее немилосердными лучами.

В литературных оценках он был суров безгранично и почти открыто презирал все, что не было вполне гениально…

Чем лучше он относился к человеку, тем к нему был безжалостней. Ко мне — в первую очередь. Я шел к нему с каждыми новыми стихами. Прослушав, он говорил:

— Дай-ка, я погляжу глазами. Голосом — смазываешь,

прикрашиваешь.

В лучшем случае, прочитав, он говорил, что «это не так уж плохо». Но гораздо чаще делал утомленное и скучающее лицо и стонал:

— Боже, какая дрянь! — Или:

— Что я тебе сделал дурного? За что ты мне этакое читаешь?

И начинался разбор, подробный, долгий, уничтожающий… Должен признаться, что я относился к его писаниям приблизительно так же. И так же каждый из нас относился к себе самому. Из года в год мы заедали самих себя и друг друга изо всех сил. Истинно, никто бы не мог сказать, что мы кадили друг другу. «Едкие осуждения» мы по совести предпочитали «упоительным похвалам».

(В последнем предложении — отсылка к стихам Боратыского, обращенным к Мицкевичу: «Не бойся едких осуждений, но упоительных похвал…»)

Любопытно, что М. Шагинян запомнила Муни другим — «молчаливым и добрым», «не произносящим ни слова». Она же дает и беглую зарисовку его внешности: «обросший черной бородой, похожий на икону Рублева». В момент знакомства с Ходасевичем он, как и его более известный друг, был студентом московского университета; но, как мы видели, основным их занятием была учеба литературная, а ее залогом — их странный и благородный союз. Он разворачивался на фоне «символического быта», в трагические, предгрозовые годы.

Мы переживали те годы, которые шли за 1905-м: годы душевной усталости и повального эстетизма. В литературе по пятам модернистской школы, внезапно получившей всеобщее признание как раз за то, что в ней было несущественно или плохо, потянулись бесчисленные низкопробные подражатели. В обществе — тщедушные барышни босиком воскрешали эллинство. Буржуа, вдруг ощутивший волю к «дерзаниям», накинулся на «вопросы пола». Где-то пониже плодились санинцы и огарки. На улицах строились декадентские дома. И незаметно над всем этим скоплялось электричество. Гроза ударила в 1914 году.

Вся эта атмосфера не могла не затронуть друзей, но в целом эти два молодых поэта скорее симптоматичны — и уж во всяком случае не типичны для второй волны символизма. Все ожидали перемен к лучшему, они — были одержимы мрачными предчувствиями. В одном стихотворном письме 1909 года Муки писал Ходасевичу:

Стихам Россию не спасти,
Россия их спасет едва ли.

Конец Муни был трагичен. Мобилизованный в первые же дни войны в качестве зауряд-военного чиновника, изнуренный одиночеством, внутренним разладом и зрелищем невиданной человеческой бойни, он застрелился в Минске в марте 1916 года. Ходасевич, некогда спасенный им в одну из отчаянных минут 1911 года, находился тогда в Москве и не смог вернуть долг своему спасителю. Для него это была невосполнимая утрата. Многие годы спустя в стихах Ходасевича обнаруживаются следы напряженного диалога с давно покойным другом.

* * *

С холодностью взираю я теперь
На скуку славы предстоящей…
Зато слова: цветок, ребенок, зверь –
Приходят на уста все чаще.
Ходасевич, Путем зерна.

Авторитет Ходасевича в литературных кругах Москвы быстро возрастал. Сразу после своего дебюта поэт становится объектом пристального внимания, а в предвоенные годы, еще до выхода Счастливого домика, его имя уже пользуется широким признанием. Об этом свидетельствуют и отзывы современников, и публикации его стихов в известных журналах, альманахах и антологиях, но едва ли не в большей мере — сотрудничество Ходасевича в таких газетах, как Утро России, Русское слово, Русские ведомости, с их общественной, а не литературной ориентацией. Сотрудничество это начинается не позднее 1910 года. Кроме стихов и статей, критических и литературоведческих, почетной известности Ходасевича способствовали также его переводы и редакторские публикации. В 1910-1923 годах, в издательстве Польза В. М. Антика, а затем и в других издательствах, до Всемирной литературы включительно, выходит около двух десятков его прозаических переводов с польского и французского языков, две составленные им антологии (в 1914: Русская лирика от Ломоносова до наших дней, в 1915: Воина в русской лирике), а также собрания стихов В. Гофмана и гр. Е. П.

Ростопчиной, Душенька Н. Ф. Богдановича и Драматические сцены Пушкина — под его редакцией, со вступительными статьями или примечаниями. Если рано проявившийся интерес к Пушкину как к объекту исследования должен быть назван среди центральных в жизни Ходасевича, то переводы из К. Макушинского или К. Тилье выполнялись для заработка и находились на периферии его интересов. Об уровне этой литературной поденщины косвенно свидетельствует тот факт, что эпопея К. Тетмайера Легенда Татр в переводе Ходасевича была переиздана в 1956 и в 1960 годах в советском издательстве. В ней находим и первые переведенные им стихи.

Мы решаемся думать, что у истоков современной школы стихотворного перевода, наряду с Брюсовым, Гумилевым, Шенгели, должен быть назван и Ходасевич. В 1912-1918 он систематически работает над переложением стихов инородцев: польских, армянских, латышских, финских и еврейских (писавших на иврите) поэтов; продолжает переводить и позже: с английского, французского, а с иврита — и в первые годы эмиграции. В 1921 он скажет: «Творчество поэтов, пишущих в настоящее время на древне-еврейском языке, оказалось для меня наиболее ценным и близким. Переводам с древне-еврейского я уделял наиболее времени и труда…».

Еврейская антология, вышедшая по-русски в 1918 под редакцией В. Ф. Ходасевича и Л. Б. Яффе, и книга переложений Ходасевича Из еврейских поэтов (1921) в короткий срок выдержали несколько переизданий.

Необходимо также отметить и публичные выступления Ходасевича со стихами и докладами: в 1906-1920 — в Литературно-художественном кружке, в Обществе свободной эстетики, в Политехническом музее, в московском Пролеткульте, а в 1921 — в Петрограде: в Доме искусств и в Доме литераторов. Сравнительно немногочисленные, они запомнились современникам, в особенности — его речь Колеблемый треножник, посвященная пушкинской годовщине и впервые прочитанная 14 февраля 1921 в Доме литераторов. Как и речь А. Блока О назначении поэта, она была встречена тогда долгими аплодисментами, эхо которых и по сей день обнаруживается в мемуарной и историко-литературной прозе.

Разностороннее дарование Ходасевича близилось к своему полному расцвету, но за плечами поэта уже стояли судьба и история.

В 1915 году, в гостях, на именинах у московской поэтессы Любови Столицы, Ходасевич упал и сместил себе позвонок. Весной 1916 года у него открылся туберкулез позвоночника.

Тут зашили меня в гипсовый корсет, мытарили, подвешивали и послали в Крым. Прожил месяца три в Коктебеле, очень поправился, корсет сняли. Следующую зиму жил в Москве, писал. На лето 1917 снова в Коктебель. Зимой снова Москва, «Русские Ведомости» «Власть Народа», «Новая Жизнь» **.**

Ходасевич. [О себе], 1922.

**** ***Газета М. Горького в Петрограде (1917-1916), закрытая Зиновьевым.***

За личным несчастьем последовала общественная катастрофа, а с нею — отсутствие литературных заработков, угроза голода, голод.

К концу 1917 мной овладела мысль, от которой я впоследствии отказался, но которая теперь вновь мне кажется правильной. Первоначальный инстинкт меня не обманул: я был вполне уверен, что при большевиках литературная деятельность невозможна. Решив перестать печататься и писать разве лишь для себя, я вознамерился поступить на советскую службу.

Ходасевич. Законодатель, 1936.

В январе 1918 поэт определился секретарем третейского суда, разбиравшего тяжбы между рабочими и предпринимателями (заводы и фабрики еще не были национализированы). Поразительной чертой пролетарского судопроизводства было наличие негласного предписания «исходить из той преюдиции, что претензии рабочих вздуты или совсем вздорны», и решать дела по возможности в пользу предпринимателей. Ближе к весне комиссар труда В. П. Ногин предложил бывшему студенту второго курса юридического факультета В. Ф. Ходасевичу — ни много ни мало — заняться кодификацией законов о труде для первой в мире республики трудящихся. «Мне было очень трудно не засмеяться», — признается Ходасевич. Он ответил решительным отказом и вскоре подал в отставку.

Затем была служба в театрально-музыкальной секции московского совета, а к концу 1918 года — в театральном отделе Наркомпроса, вместе с Бальмонтом, Брюсовым, Балтрушайтисом, Вячеславом Ивановым, Пастернаком. Возглавляла театральный отдел О. Д. Каменева, жена вождя.

Чтобы не числиться нетрудовым элементом, писатели, служившие в Тео, дурели в канцеляриях, слушали вздор в заседаниях, потом шли в нетопленые квартиры и на пустой желудок ложились спать, с ужасом ожидая завтрашнего для, ремингтонов, мандатов, г-жи Каменевой с ее лорнетом и секретарями. Но хуже всего было сознание вечной лжи,

потому что одним своим присутствием в Тео и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись.

Ходасевич. Белый коридор, 1937.

В конце лета 1918 Ходасевич, вместе с П. П. Муратовым, организовал в Москве Книжную лавку писателей. Создание этого культурного предприятия, вопреки сложившейся легенде, подкрепленной целой литературой, имело под собою цели не вполне возвышенные, оно «определялось бытием, а не наоборот, то есть попросту говоря, возникла она потому, что писателям нужно было жить, а писать стало негде». Но доходами от Лавки было не прокормиться, и осенью Ходасевич соглашается «заведывать московским отделением Всемирной Литературы». Эта скучная, очень административная работа протянулась до лета 1920, «когда пришлось бросить и ее: никак нельзя было выжать рукописей из переводчиков, потому что ставки Госиздата повышались юмористически медленно, а дороговизна жизни росла трагически быстро». С середины 1919 года он совмещает эту службу с заведованием московской Книжной палатой.

Лучшим и самым естественным в этом послужном списке было преподавание. Осенью 1918 года Ходасевич начал читать лекции о Пушкине в московском Пролеткульте.

Среди слушателей были Александровский, Казни, Полетаев, Михаил Герасимов — с этим последним связывались тогда большие надежды. В целом уровень студийцев был низок. Вот образцы пролеткультовской поэзии тех лет:

П. Арский:

Довольно слез и унижений,
Нет больше рабства и цепей!
Свободны будут поколенья
От тирании палачей.

Самобытник:

Волнующим стоком, как огненным током,
Забьемся мы соком весенних сердец.

Илья Садофьев:

От масс достойно избраны их первыми депутатами
В царство грядущего, как лучшие из всех,
Вселенная примет и признает только тех,
Которые к ней явятся с нашими мандатами.

Здоровый оптимизм этих строк — находка для врага революции, декадента, эстета. К тому же: «Подлинная стихия Ходасевича — злость» (Вл. Орлов). Но и добрый человек мог бы

тут рассердиться. Больной, голодающий, издерганный Ходасевич относится к своей новой работе с добросовестнейшей серьезностью:

…я могу засвидетельствовать ряд прекраснейших качеств русской рабочей аудитории — прежде всего ее подлинное стремление к знанию и интеллектуальную честность.

Ходасевич. Пролеткульт, 1937.

Лекции Ходасевича собирали до сорока человек, лекции Андрея Белого — до шестидесяти, т.е. полный состав; лекции «идейных вождей» почти не посещались. Идея перенять мастерство Пушкина, отбросив его буржуазно-дворянское содержание, быстро вырождалась. В 1922 Ходасевич вспоминает:

…Мешали. Сперва предложили ряд эпизодических лекций. После третьей велели перейти на семинарий. Перешел. После третьего же «урока» — опять надо все ломать: извольте читать «курс»: Пушкин, его жизнь и творчество. Что ж, хорошо и это. Дошел до выхода из лицея — каникулы или что-то в этом роде. В Пролеткульте внутренний развал: студийцы быстро переросли своих «идейных вождей». Бросил, ушел.

Ходасевич. [О себе], 1922.

Ходасевич ушел из Пролеткульта осенью 1919 года. Этому способствовали не только естественные помехи, но и некоторая зыбкость отмеченной им интеллектуальной честности русской рабочей аудитории. Вот характерный эпизод. При Пролеткульте решено было издавать журнал Горн, под редакцией самих студийцев. Для первого номера Ходасевича просили написать статью о стихах М. Герасимова, что он и сделал. (Еще в 1915 он «довольно сочувственно» отозвался о Герасимове в Русских ведомостях.) Статья вышла в сдвоенном, II-III, номере Горна за 1919 год, причем обнаружилось, что все критические замечания из нее выброшены, оставлены одни похвалы. Ходасевич потребовал объяснений. Ему сказали, что и в таком виде редакция и сам Герасимов рецензией недовольны. Герасимов перестал посещать лекции Ходасевича. Все это было не вполне обычно для русской литературы: «кумовство даже в "гнилой" буржуазной критике не поощрялось». «Я видел, как в несколько месяцев лестью и пагубной теорией "пролетарского искусства" испортили, изуродовали, развратили молодежь, в сущности очень хорошую…» (Пролеткульт, 1937) .

Последней каплей явилась история с неким Семеном Родовым. В прошлом сионист, член московского комитета Геховера, впоследствии видный деятель ВАППа, редактор журналов На посту и Октябрь, он прочел на одном из собраний

Пролеткульта, в присутствии Ходасевича, свою поэму Октябрь (давшую затем название известному московскому журналу). Поэма была перелицована: ее первый, антибольшевистский вариант Родов читал Ходасевичу еще в конце 1917 года — и просил его «сделать ему маленькую рекламу» в Русских ведомостях и Власти народа. Родов был откровенный перебежчик. Позже, в берлинской газете Дни (от 22 февраля 1922), Ходасевич, вспоминая о послеоктябрьских встречах с ним, писал:

…Семен Родов обличал меня в сочувствии большевикам. Посмеивался над моей наивностью: как мог я не видеть, что Ленин — отъявленный, пломбированный германский шпион. Он ненавидел большевиков мучительно… В том, что большевики продержатся не более двух месяцев, Родов не сомневался.

Как раз в эти годы Родов и его товарищи энергично способствовали развитию булгаринских традиций в русской литературе:

…В 20-х гг. донос в «На посту» означал конец писателя или поэта, смещение редактора со своего места, иногда арест, ссылку, физическое уничтожение. Журнал успешно ликвидировал троцкистов, попутчиков, символистов, футуристов и мн. др. Палачи русской литературы были: Авербах, Лелевич, Родов. Они погубили два поколении писателей и поэтов, ученых, критиков и драматургов. Позже они сами были ликвидированы, но к сожалению сейчас частично «реабилитированы».

Н. Н. Берберова. Курсив мой, Мюнхен, 1972.

Вероятно, Родов и ему подобные не составляли большинства в Пролеткульте, но таковы были способнейшие, и последующее возвышение Родова не кажется случайным: он был на своем месте, в свое время. «Время гонит толпу людей, спешащих выбраться на подмостки истории, чтобы сыграть свою роль — и уступить место другим, уже напирающим сзади…» (Колеблемый треножник, 1921).

Ходасевич продолжал бедствовать:

Зиму 1919-20 гг. провели ужасно. В полуподвальном этаже нетопленого дома, в одной комнате, нагреваемой при помощи окна, пробитого — в кухню, а не в Европу.

Трое *** в одной маленькой комнате, градусов 5 тепла (роскошь по тем временам). За стеной в кухне на плите спит прислуга. С Рождества, однако, пришлось с ней расстаться: не по карману. Колол дрова, таскал воду, пек лепешки, топил плиту мокрыми поленьями… Мы с женой в это время служили в Книжная Палате: я — заведующим, жена — секретарем.**

Ходасевич. [О себе].

***** Т. е. Ходасевич, Анна Ивановна Гренцион (Чулкова) и ее сын, Гарик Гренцион, двенадцати лет.

В таких условиях заканчивал Ходасевич свою третью книгу стихов, Путем зерна. Выпустив ее весной 1920 года, он слег: заболел тяжелой формой фурункулеза.

Эта небольшая книга с антимодернистским названием — одна из вершин в творчестве Ходасевича и одновременно одна из вершин в русской лирике XX столетия. Как и всякое подлинное искусство, она отметает долгие десятилетия, прошедшие со времени ее создания: ни одно из включенных в нее стихотворений не принадлежит единственно и неотъемлемо 1910-м годам, — каждое является достоянием любого времени и могло быть написано сегодня. Вдохновение и мастерство в их гармоническом слиянии, острый, бескомпромиссный вкус и редкое чувство композиции отличают эти стихотворения. Они, кроме того, несут в себе невольный портрет поэта, отпечаток глубокой и своеобразной личности. Вот одно из периферийных стихотворений сборника, образец безупречной лирической миниатюры:

БЕЗ СЛОВ

Ты показала мне без слов,
Как вышел хорошо и чисто
Тобою проведенный шов
По краю белого батиста.
А я подумал: жизнь моя,
Как нить, за Божьими перстами
По легкой ткани бытия
Бежит такими же стежками.
То виден, то сокрыт стежок,
То в жизнь, то в смерть перебегая…
И, улыбаясь, твой платок
Перевернул я, дорогая.

Не густо-метафорическая летейская стужа Мандельштама, но классическая, сдержанно-созерцательная айдесская прохлада сообщает этим стихам их основной, трагический тон. Правильные рифмы, никогда не диссонирующая мелодия, никакой перегруженности, простейший семантический абрис — все это приметы материала, на ощупь прохладного, как античный мрамор, но лишь от слепых скрывающего напряженную сущность произведения. Тому, «кто прав последней правотой», не нужно преувеличенных средств для достижения полной

выразительности. С выходом книги Путем зерна Ходасевич окончательно определяется среди тех «ваятелей слова, которые все свое мышление, все свои чувства и воззрения, отрешив их от родившей их души, умеют обрабатывать, как готовый материал и как бы представлять пластически» (Гейне). «Двенадцать строк стихотворения "Без слов" могут служить образцом зрелого и уверенного искусства», — с некоторой чопорностью скажет в 1921 году Георгий Адамович.

Несомненно, что второе лицо этого немого диалога над платком — Анна Ивановна Гренцион. С нею связана бóльшая часть стихотворений сборника, обращенных к женщине, в том числе и два заключительных. Поэтому книга с бóльшим основанием, чем предыдущая, могла быть посвящена ей. Но как Счастливый домик был авансом посвящен другу будущего, так Путем зерна в двух своих первых изданиях выходит с посвящением другу прошлого: Памяти Самуила Киссина.

Поразительны шесть больших повествовательных стихотворений книги, написанных нерифмованным разностопным ямбом.

ОБЕЗЬЯНА

Была жара. Леса горели. Нудно
Тянулось время. На соседней даче
Кричал петух. Я вышел за калитку.
Там, прислонясь к забору, на скамейке
Дремал бродячий серб, худой и черный.
Серебряный тяжелый крест висел
На груди полуголой. Капли пота
По ней катились. Выше, на заборе,
Сидела обезьяна в красной юбке
И пыльные листы сирени
Жевала жадно. Кожаный ошейник,
Оттянутый назад тяжелой цепью,
Давил ей горло. Серб, меня заслышав,
Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я
Воды ему. Но чуть ее пригубив, —
Не холодна ли, — блюдце на скамейку
Поставил он, и тотчас обезьяна,
Макая пальцы в воду, ухватила
Двумя руками блюдце. (…)

Стих по своей фактуре максимально приближен к прозе, шестистопный ямб часто идет без цезуры, нет и следа мелодической стройности рифмованных стихов Ходасевича.

«Мастерство и техника здесь спрятаны; во внешних украшениях стиха автор сдержан и даже скуп» (Б. Вышеславцев, 1922). Скуп, можно добавить, настолько, что неискушенный читатель спрашивает: точно ли это стихи? в чем здесь искусство? но тот же вопрос возникает у неискушенного читателя и над Илиадой. Опресненный, угловатый, тяжеловесный ямб Ходасевича — это русский гекзаметр, он в той же мере требует от читателя воспитанного художественного чутья.

Стихи эти, можно допустить, навеяны музой Саула Черниховского*, чьи поэмы, написанные на иврите настоящим (дактилическим) гекзаметром, Ходасевич начинает переводить в октябре 1916 года.

* ***Шауль (Саул Гутманович) Черниховский (1875-1943) — поэт и переводчик, один из классиков новой еврейской литературы, автор лирических стихотворений и лирико-бытописательных поэм-идиллий, написанных гекзаметром (быть может, под влиянием Германа и Доротеи Гёте). Переложил на иврит обе эпопеи Гомера, Калевалу, Песнь о Гайавате, Гёте, Мольера. Родился в Крыму, умер в Палестине.***

Впоследствии переводы из Черниховского составят две трети книги Ходасевича Из еврейских поэтов. Ни один из иноязычных авторов не повлиял на Ходасевича в большей мере. Последнюю из переведенных им поэм Черниховского Ходасевич публикует уже в эмиграции, в 1924 году, — посвятив, тем самым, его творчеству целых семь лет. Поэты были знакомы и состояли в переписке. Именно под влиянием Черниховского у Ходасевича зарождается мысль о создании большой вещи, повести в стихах: так появился отрывок На Пасхе, исторический эскиз, написанный гекзаметром, а следом за ним — и белые ямбы. Но повествование и эпос, при всей их притягательности для Ходасевича, не отвечали природе его дарования. К началу 1920-х он оставляет попытки написать поэму и возвращается к лирике, бывшей его истинным призванием.

Путем зерна завершает восхождение Ходасевича на русский поэтический Парнас. В возрасте 33 лет он окончательно утратил привилегии молодого поэта, от которого еще только ждут его главных достижений, и оказался в числе немногих бесспорных авторитетов. Тон рецензий на его стихи меняется: нет восторженного умиления, нет и поощрительного высокомерия. Явилась потребность судить о них иначе. Вот некоторые замечания, кажущиеся мне верными. П. Губер говорит о «безупречном, необычайно остром вкусе» Ходасевича, о «целомудренной сдержанности» и «совершенно индивидуальном оттенке интимности» его стихов. По замечанию Софии Парнок,

слово у Ходасевича «достигает кристальности формулы». Сходным образом отзывается о книге и М. Шагинян: «Афоризм — вечен; он удается только поэту с напряженным духовным опытом. Между тем у Ходасевича афористичны целые строфы, целые стихотворения… В "Путем зерна" афоризм становится тяжелым, подобным резьбе по камню…». Но изнаночная сторона всякого успеха — зависть: она, во всем многообразии присущих ей форм, питает не только юношеское ниспровергательство и старческое брюзжание, но и соревновательный инстинкт, родственный творческому. С выходом Путем зерна Ходасевич невольно приобретает обширную литературную оппозицию. Среди добросовестных и наиболее свободных критиков, скептически отозвавшихся о книге, необходимо указать Г. Адамовича и Ю. Тынянова. Первый писал в 1921: «Ходасевич едва ли не самый умелый из русских поэтов нашего времени… Всякий не потерявший чутья человек, прослушав отдельные вещи Ходасевича, признает, что это прекрасные стихи. Но, прочтя его книгу, он задумается, может быть, живое ли это творчество…». Дальнейшая судьба Адамовича, его путь от акмеизма к парижской ноте, представляется мне как бы ответом на вопрос, притом ответом положительным. Ю. Тынянов в известной статье Промежуток (1924) писал о Ходасевиче:

…Его стих нейтрализуется стиховой культурой XIX века… Мы сознательно недооцениваем Ходасевича, потому что хотим увидеть свой стих, мы имеем на это право…

Это не значит, что у Ходасевича нет «хороших» и даже «прекрасных» стихов. Они есть, и возможно, что через 20 лет критик скажет о том, что мы Ходасевича недооценили.

Психология этой сознательной недооценки совершенно прозрачна — недаром Тынянов так непосредственно обнаруживает беспокойство за ее дальнейшую судьбу.

Любимое дитя своей конструктивистской эпохи, Тынянов догадывался, что служит сиюминутному, преходящему. Его темперамент оказался в резонансе с темпераментом дня. Антигуманитарная сущность модернизма была в то время еще далеко не самоочевидна.

Ходасевич проболел всю весну 1920 года и чудом остался жив. Летом, при содействии М. О. Гершензона**, ему удалось устроиться в санаторий — в Здравницу для переутомленных работников умственного труда.

** ***Михаил Осипович Гершензон (1869-1925) — мыслитель, исследователь Пушкина, историк литературы и эссеист, друг Ходасевича.***

В ней он провел около трех месяцев, а А. И. Гренцион —

шесть недель. Гершензон тогда и сам отдыхал в здравнице, в одной комнате с Вячеславом Ивановым, — здесь возникла их известная Переписка из двух углов. Осенью Ходасевича ожидала новая беда. Пройдя в очередной раз медицинскую комиссию, «после семи белых билетов, еще покрытый нарывами, с болями в позвоночнике», он был признан годным в строй: предстояло прямо из санатория, собравшись в двухдневный срок, отправиться в Псков, а оттуда на фронт. Спасла случайность. Оказавшийся в это время в Москве Горький велел ему написать письмо Ленину и сам отвез его в Кремль; Ходасевича переосвидетельствовали и отпустили. Прощаясь с ним, Горький посоветовал перебираться в Петербург: «Здесь надо служить, а у нас еще можно писать».

Ходасевич решается на переезд. Чтобы понять, как сильны были вызвавшие этот шаг причины, достаточно вспомнить, что вся предшествовавшая жизнь поэта была неразрывно связана с Москвой. Правда, «в Петербурге настоящая литература: Сологуб, Ахматова, Замятин, Кузмин, Белый, Гумилев, Блок», но сам Ходасевич бывал там лишь наездами. В Москве оставались могилы родителей, воспоминания детства и юности, друзья, всё. Вероятно, последовавший в 1922 году выезд Ходасевича из Петрограда в Берлин должен был представляться ему шагом уже менее решительным — во всяком случае, он в значительной степени был подготовлен этим.

17 ноября 1920 Ходасевич, А. И. Гренцион и ее сын Г. Гренцион покидают Москву. (Поэт еще трижды побывает в ней в качестве гостя: в октябре 1921-го, в феврале и мае 1922-го.) Перед самым выездом комната их была подчистую ограблена. «Прикрыть наготу» помогли родные, ордер на башмаки выдал Ходасевичу А. В. Луначарский. Лакированные американские полуботинки, полученные после долгих мытарств, оказались малы и были проданы уже в Петрограде.

* * *

Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья.
Его и нет на том пути,
Куда уносит вдохновенье.

Ходасевич. Тяжелая лира.

Первым пристанищем Ходасевича в Петрограде была

антикварная лавка на Садовой. Спустя несколько дней ему посчастливилось выхлопотать казенное жилье в Доме искусств ***: «Хорошие две комнаты, чисто, градусов 10-12 тепла…» ([О себе], 1922).

*** ***По адресу: Большая Морская 14 (иначе: Мойка 51), кв. 30а, комн. 10.***

Перебравшись в Дом искусств, Ходасевич слег и оправился только к январю 1921 года. С самого своего начала этот год ознаменовался для него небывалым и никогда более не повторившимся творческим подъемом, чему способствовал будоражащий воздух тогдашнего Петрограда.

…именно в эту пору сам Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не бывал уже давно, а может быть и никогда…

Москва, лишенная торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалка. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы…

В этом великолепном, но странном городе… жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступила наружу с небывалой отчетливостью. Голод и холод не снижали этого подъема, — может быть, даже его поддерживали.

Ходасевич. Дом искусств, 1939.

Таким вспомнился поэту Петроград в апреле 1939 года, за два месяца до смерти. Первое впечатление от северной столицы было гораздо менее благоприятным.

Двадцатого января 1921 года, едва оправившись от болезни, Ходасевич пишет в Москву своему шурину Г. И. Чулкову: «переезжать сюда решительно не советую», «единственный способ устроиться здесь сытно: это — читать лекции матросам, кр[асноармейца]м и милиционерам… Этого Вам не выдержать, как и мне», академический паек вдвое меньше московского, все комнаты в Доме искусств заняты, «и м. б. самое важное: повальный эстетизм и декадентство. Здесь говорят только об эротических картинках, ходят только на маскарады, все влюблены, пьянствуют и "шалят". Ни о каких высоких материях и говорить не хотят: это провинциально». Понятно теперь, кому были в том же 1921 году адресованы следующие стихи (вошедшие в первое издание Тяжелой лиры, но исключенные из второго):

Слышать я вас не могу.

Не подступайте ко мне.
Волком бы лечь на снегу!

Понятно также, какое из двух лиц Петрограда на деле являлось настоящим, а какое — карнавальным, условным. Непосредственным свидетельством в пользу истинности первого из них стала, между прочим, и четвертая, самая известная книга стихов Ходасевича, Тяжелая лира. Она сложилась в необычайно короткий для поэта срок: всего за один год и 10 месяцев — в первом издании, а если взять за основу окончательный вид — за два 2 года и 2 месяца. Двадцать девять стихотворений из 43 в первом издании и 28 из 47 в последней авторской редакции книги были написаны в 1921 году. Коренной москвич, Ходасевич всегда был поэтом петербургской школы: его особая творческая активность в Петрограде находит в этом свое естественное объяснение.

Литературно-художественная жизнь Петрограда еще обладала некоторой автономией, и Ходасевич очень скоро оказывается вовлеченным в ее круговорот. Его избирают членом комитета Дома литераторов, членом правления петроградского отдела всероссийского союза писателей, одним из пяти судей чести при союзе писателей, а к концу 1921 года — и членом высшего совета Дома искусств. Государство поддерживало эти свободные ассоциации, не вмешиваясь прямо в их внутренние дела и не препятствуя их самоуправлению. Скудная эта поддержка, вместе с видимым безразличием власти к вопросам эстетики, если и не способствовала вдохновению, то все же создавала некоторую приподнятость духа, которой и отличался Петроград в 1921 году — во всяком случае, до августа, унесшего Блока и Гумилева. «Быть может, ничего особенно выдающегося тогда не было создано, но самый пульс литературной жизни был приметно повышен», — так определил Ходасевич в 1939 году период Тяжелой лиры, 1920-1922 годы в Петрограде (как бы не беря всерьез восторги современников по поводу его стихов той поры).

Тяжелая лира несет на себе явственный отпечаток атмосферы тогдашнего Петрограда. В стихах Ходасевича появляется неожиданная незавершенность — «зловещая угловатость», «нарочитая неловкость», по выражению Юрия Тынянова, приветствовавшего этот отход поэта от классицизма. Ходасевич и прежде был скуп в отборе поэтических средств, теперь же его стихи истончаются до последней простоты. Он еще глубже архаизирует свою манеру, в его стихах появляется нечто от музы Державина.

Довольно! Красоты не надо.
Не стоит песен подлый мир.
Померкни, Тассова лампада —
Забудься, друг веков, Омир.
И Революции не надо!
Ее рассеянная рать
Одной венчается наградой,
Одной свободой — торговать…

Внутренняя мотивировка этой архаизации ясна: отмежевание от футуристов всех мастей, противостояние конструктивистскому по форме и деструктивному по существу новаторству, обращение к народности — в державинском значении этого слова. Для Ходасевича, признававшего лишь естественный ход вещей, не терпевшего насилия над природой, — в этом не было ничего нарочитого. Но в глазах литературных филистеров обеих столиц тут содержался вызов: они увидели в Ходасевиче новатора наизнанку. В нигилистической атмосфере тех лет архаизмы были не просто новы, но еще и смелы до дерзости, — смелость же в искусстве признается почетной прерогативой новаторов. Носители нового общественного вкуса, обыватели от модернизма, были задеты за живое; их обида усиливалась успехом Ходасевича.

Ибо Петроград обратил к Ходасевичу в 1921 году и свое первое, изначально светлое лицо. Пандемическая слава Блока, Сологуба и Андрея Белого миновала, Осипа Мандельштама — не наступила. После смерти Блока**** и гибели Гумилева Ходасевич, наряду с Ахматовой, становится одним из центров притяжения поэтического Петрограда.

**** ***О ней Ходасевич узнал из письма Андрея Белого, полученного им в Бельском Устье, колонии Дома искусств в Псковской губернии, где он провел конец лета 1921 года.***

Лучшие его стихи 1921 года в собственном смысле слова совершенны: в них нет ничего нарочитого, безукоризненно выбран и выдержан тон, они светятся изнутри, с последней прямотой приобщая нас к последнему знанию:

Когда б я долго жил на свете,
Должно быть, на исходе дней
Упали бы соблазнов сети
С несчастной совести моей.
Какая может быть досада,
И счастья разве хочешь сам,
Когда нездешняя прохлада

Уже бежит по волосам?
Глаз отдыхает, слух не слышит,
Жизнь потаенно хороша,
И небом невозбранно дышит
Почти свободная душа.

Эти стихи вызывали восхищение Андрея Белого: «Простой ямб, нет метафор, нет красок — почти протокол, но протокол — правды отстоенного душевно-духовного знания. … вот то, что новей футуризма, экспрессионизма и прочих течений…» (1922). Несколько позже, зимой 1922-1923 годов, на обсуждении стихов Ходасевича в берлинском кафе Прагер-диле, Белый говорил о «виртуозной скупости слов» в стихах Ходасевича, о том, что в них «каждое слово, как в ванне Архимеда, вытесняет всю лишнюю влагу, и удельный вес звука становится совершенно точным» *****.

***** Эти слова приводит в своих воспоминаниях В. Андреев: Возвращение в жизнь. — Звезда, 1969, №6, стр.64.

Лучшие стихотворения Тяжелой лиры, еще пока не изданной, внезапно становятся событием дня в Петрограде, завладевают вниманием ценителей и приносят Ходасевичу уже не признание, а некоторое подобие славы. В конце 1921 года он много выступает.

… в тот вечер… он читал «Лиду», «Вакха», «Элегию»… Про «Элегию» он сказал, что она еще не совсем кончена. «Элегия» потрясла меня… 23-го декабря он опять был у Иды* и читал «Балладу». Не я одна была потрясена этими стихами. О них много тогда говорили в Петербурге.

Н. Н. Берберова. Курсив мой. Автобиография. Мюнхен, 1972.

** **Ида Моисеевна Наппельбаум (1901-1994) — поэтесса, дочь известного фотографа-художника М. Наппельбаума, в квартире которого, по адресу Невский 72 кв. 10, происходил упомянутый литературный вечер.***

Стихотворение «Не матерью, но тульскою крестьянкой» Ходасевич читал в день его окончания, 2 марта 1922 года, в кругу литературной молодежи. «…мы не читали "по кругу" — никому не хотелось читать свои стихи после его стихов…» (Н. Н. Берберова).

Нападок, клеветы и злобы не избежал, кажется, ни один писатель, переживший славу или успех. То же можно сказать и о Ходасевиче. В 1922 году, после панегирической статьи А. Белого в Записках мечтателей, на его след становится Николай Асеев — сначала робко («спорно выступление А. Белого с заметкой о стихах Ходасевича», 1922), затем более открыто и грубо («Нет смысла доказывать, что дурно-рифмованным недомоганиям г.

Ходасевича не помогут никакие мягкие припарки», 1923). Если критика Асеева базируется на противоположной эстетике и подогревается завистью, то набравший к этому времени силу Семен Родов примешивает к ней и политику — в форме откровенного доноса. Из восемнадцати страниц своего обзора (На посту, 1923, № 2-3) он семь, по старой дружбе, посвящает Ходасевичу и одиннадцать — остальным шести попутчикам; для уничтожения Вёрст Цветаевой ему хватило двух страниц. В рядах новой критики находим и Валерия Брюсова. Его отзыв о Тяжелой лире в журнале Печать и революция (1923, № 1) — печальное свидетельство человеческого и литературного паденья некогда замечательного поэта. Общий метод этого рода критики таков: неточная цитата — затем ее же иронический пересказ. Рецензии саморазоблачительны: оппоненты приписывают Ходасевичу свои же собственные и всем очевидные низости: классовую позицию, поиск дешевой популярности, продажность.

Зато в эмиграции, с опозданием на много лет, появилась действительно замечательная — и не стареющая — рецензия на четвертую книгу Ходасевича: роман Владимира Набокова Дар. На столе у главного героя романа, поэта Годунова-Чердынцева, мы находим Тяжелую лиру — рядом с Кипарисовым ларцом Анненского. Один из обаятельнейших героев романа, поэт Кончеев, восходящая звезда эмигрантской литературы, — списан с Ходасевича.

…в квартире Ходасевича в 1932 в Париже происходили те прозрачные, огненные, волшебные беседы, которые после многих мутаций перешли на страницы «Дара», в воображаемые речи Годунова-Чердынцева и Кончеева.

Н. Н. Берберова. Курсив мой. Мюнхен, 1972.

Тяжелая лира вышла первым изданием в середине 1922 года, в Государственном издательстве, с пометой: Москва-Петроград. Ходасевич был лишен возможности проконтролировать этот выпуск. В 1925 году, в одном из писем, он скажет: «…кстати, моск. изд. совершенно негодное: в нем только искажающих смысл опечаток более 15, стихи не в том порядке и т. д. …». О допущенных издательством оплошностях он узнал уже в Берлине, куда приехал с Н. Н. Берберовой 30 июня 1922 года.

…с февраля кое-какие события личной жизни выбили из рабочей колеи, а потом привели сюда, в Берлин. У меня заграничный паспорт [№ 16! — Ю.К.] на шесть месяцев сроком. Боюсь, что придется просить отсрочки, хотя больше всего мечтаю снова увидеть Петербург, и тамошних друзей моих и вообще — Россию, изнурительную, убийственную, омерзительную, но чудесную и сейчас, как во все времена

свои.

Ходасевич. [О себе], июль 1922.

Кусок картона, на котором в 1922 Ходасевич наскоро нацарапал для Н. Н. Берберовой конспект своей автобиографии, заканчивается словом: Катастрофа — так он обозначил свое новое и последнее страстное увлечение женщиной. Двадцать первого ноября 1921 года, в Петрограде, на литературном вечере у И. М. Наппельбаум, Ходасевич знакомится со студенткой Зубовского института истории искусств, начинающей поэтессой Ниной Николаевной Берберовой (1901-1993), которой вскоре предстоит стать его третьей женой. Красотой и своеобразием Берберова не уступала своим предшественницам, тронувшим сердце поэта, твердостью характера и целеустремленностью — много превосходила их. Впоследствии она составила себе имя в русской эмиграции как поэт и беллетрист, а после второй мировой войны, переселившись из Парижа в Америку, занимала кафедры русской литературы в ряде известных университетов. Человек необычайного жизнелюбия и редких способностей, Берберова явилась ярчайшим выразителем последнего и самого радикального поколения нигилистов, доставшегося XX веку в наследство от XIX, рудиментом рационализма в эпоху его кризиса. Любопытную характеристику этому поколению дает в своей Второй книге Н. Я. Мандельштам:

Я не понимала разницы между мужем и случайным любовником и, сказать по правде, не понимаю и сейчас… Мое поколение, собственноручно разрушившее брак, что я и сейчас считаю нашим достижением, никаких клятв верности не признавало.

Несомненно, что это новое увлечение было взаимным: противоположности сходятся, а Берберова решительно во всем была непохожа на Ходасевича; есть на эту взаимность и прямые указания. Но ясно также и то, что роман перешел в супружество волею обстоятельств. С началом НЭПа перед любовниками открылась возможность покинуть Россию — разумеется, на время: никто не предполагал, что террор может продлиться десятилетия. Ходасевичу предстоял мучительный разрыв с А. И. Гренцион — временный выезд мог сгладить и облегчить его. В Берлине начинала складываться большая община русских литераторов, в 1922-1923 годы там были десятки русских издательств, газеты, журналы; ненадолго в этом городе оказываются чуть ли не все лучшие силы русской литературы. Наконец, НЭП оставлял надежду на то, что дела в России скоро наладятся. Ходасевич и Берберова не собирались становиться эмигрантами: Ходасевич, как мы видели, заявил об этом с полной определенностью, и уже

в Берлине. Но очень скоро, в конце 1922 года, выяснилось, что обратной дороги для него нет.

В мае 1922 года, подготовив Тяжелую лиру, Ходасевич отправляется в Москву — хлопотать о выезде.

Ходасевич пробыл в Москве несколько дней и два-три раза заходил к нам. В союзе поэтов ему устроили вечер, куда собралась по тому времени огромная толпа. Его любили и любят и сейчас…

Ходасевич был весел и разговорчив. Его радовала перспектива отъезда. Он рассказывал, что уезжает с Берберовой, и умолял никому об этом не говорить, чтобы не дошло до его жены, Анны Ивановны Ходасевич, сестры Чулкова: «Иначе она такое устроит!» В испуге Ходасевича мерещилось что-то наигранное, притворное. Меня поразило, что он сматывается втихаря от женщины, с которой провел все тяжкие годы и называл женой. Мандельштам тоже поморщился, но не в его привычках было осуждать поэта: видно, так надо…

Н. Я. Мандельштам. Вторая книга. Воспоминания.

Отъезд держался в тайне от А. И. Гренцион. Вернувшись с визами в Петроград, Ходасевич последние три дня в этом городе прожил на Кирочной, в квартире художника Ю. П. Анненкова, после чего они с Берберовой выехали через Литву в Германию.

Честолюбивая, независимая, полная жизни Берберова не стала, да и не могла стать, идеальной спутницей стареющему поэту. Безоговорочно признавая литературный авторитет Ходасевича и его превосходство над нею в общей их профессии, она всегда оставалась его эстетическим противником. Можно предположить, что любовь к Ходасевичу и понимание его стихов явились у нее одновременно, взаимно помогая друг другу, но не затрагивая ее человеческой сущности, — иначе не объяснить ни самодовлеющего, природного атеизма ее сочинений, ни почтительного изумления перед поэзией Маяковского, отвергаемой Ходасевичем: смешение пристрастий к этим двум авторам в сознании писателя означало бы плоский эклектизм. С Ходасевичем Берберова прожила немногим более десяти лет. Их союз никогда не был скреплен подписями и печатями, и в 1932 году, в Париже, когда она оставила поэта, чтобы вскоре стать подругой Н. В. Макеева, никаких формальных препятствий не возникло; не было между ними и ссоры. Кажется, Ходасевич пытался вернуть Берберову; но, потерпев в этом неудачу, уже в 1933 году он женится вновь — на Ольге Борисовне Марголиной, племяннице М. А. Алданова**.

** ***Марк Александрович Алданов (Ландау, 1889-1957) —***

беллетрист и историк литературы, эмигрант, автор знаменитых в русской диаспоре исторических романов, которые Ходасевич называл чихающим жанром. «Всё писательское умение Алданова, язвил он, имеет целью порадовать читателя тем, что цари и полководцы чихают, как простые смертные…» (Л. Любимов. На чужбине. — Новый мир, 1957, № 3).

О последней из женщин, на которую бросает свет жизнь Ходасевича, известно немногое. По словам Берберовой, еще в юности придя к убеждению, что иудаизм — вера мужская, и женщине нечего в ней делать, Марголина крестилась в католичество. Зимой 1931-1932 годов, в Париже, ей было под сорок, она жила с сестрой, зарабатывая на жизнь вязанием. С Ходасевичем ее сблизило их общее одиночество. После его смерти, в годы оккупации Франции, она погибла в одном из нацистских концлагерей.

Из 47 стихотворений Тяжелой лиры лишь 4 непосредственно связаны с Берберовой. И все же ей, в той же мере, что и живительному воздуху Петрограда, обязана эта книга своим существованием. В обществе Берберовой Ходасевич ненадолго обретает вторую молодость. Жесткими декорациями для этого последнего всплеска романтического чувства становятся в нюне 1922 года каменные громады Берлина, этой «мачехи российских городов».

* * *

Годы 1921-1925 в жизни Ходасевича неразрывно связаны с Горьким. Писатели познакомились в 1918 году, при организации издательства Всемирная литература, а с 1921 года, несмотря на «разницу… литературных мнений и возрастов», знакомство это приняло характер тесной дружбы.

Если правда, что в дружбе равенство невозможно, то придется признать, что в этом странном союзе старшим партнером был Ходасевич. Горький в эти годы был одним из самых известных в мире писателей, он прямо наследовал славу Толстого, без которой и его слава была бы невозможна, — и в этом единственном смысле был преемником великого яснополянского моралиста. Для многих авторов мнение Горького было приговором. Случалось, люди заболевали, получив его отрицательный отзыв***, даже частный.

*** ***См., например, его переписку с Кавериным:***

Литературное наследство, т. 70.

При всем том, подружившись с Ходасевичем, Горький оказался под влиянием человеческой и творческой индивидуальности своего молодого и не столь известного друга.

Я бы сказала, что перед Ходасевичем он временами благоговел — закрывая глаза на его литературную далекость, даже чуждость. Он позволял ему говорить себе правду в глаза, и Ходасевич пользовался этим. Горький глубоко был привязан к нему, любил его как поэта и нуждался в нем как в друге. Таких людей около него не было: одни, завися от него, льстили ему, другие, не завися от него, проходили мимо с глубоким, обидным равнодушием.

Н. Н. Берберова. Курсив мой, 1972.

Поводом к их сближению послужила уже установившаяся дружба Горького с племянницей поэта, В. М. Дидерихс (Валентиной Ходасевич), художницей, написавшей, между прочим, портреты Горького и Ходасевича. В 1921 году она была в числе постоянных обитателей густонаселенной квартиры Горького в Петрограде на Кронверкском проспекте. «Вот это обстоятельство и определило раз навсегда характер моих отношений с Горьким: не деловой, не литературный, а вполне частный, житейский. Литературные дела возникали и тогда, и впоследствии, но как бы на втором плане», — скажет Ходасевич в 1936 году. Одним из таких второстепенных дел было, например, принятие Горького в только что возникший в Москве в 1918 году союз писателей: для вступления по уставу полагались рекомендации двух членов правления; их Горькому написали Ходасевич и Ю. К. Балтрушайтис (он еще не был тогда литовским посланником).

Открытая вражда Зиновьева, устраивавшего у Горького обыски и грозившего ему, а затем и ссора с Лениным, вынудили Горького осенью 1911 года покинуть не только Петроград, но и советскую Россию. В нюне 1922 года он жил в Германии, на побережье. Оказавшись в Берлине, Ходасевич тотчас же написал ему. Так началась их переписка, длившаяся затем по август 1925 года включительно. Одна из ее половин, 32 письма Горького к Ходасевичу, является в настоящее время собственностью Библиотеки конгресса в Вашингтоне и полностью опубликована. В октябре 1922 года Горький уговорим Ходасевича поселиться в городке Саарове, близ Фюрстенвальде, где они прожили до середины лета 1923 года. Горький вынашивал Дело Артамоновых, Ходасевич писал Поэтическое хозяйство Пушкина, вышедшее затем в 1924 году с громадным количеством опечаток (издательство Мысль, «налаженное» в 1921 году Ходасевичем и

Гумилевым, отказалось выдать посреднику Ходасевича корректуру для сверки). Ненадолго расставшись, писатели вновь съехались в ноябре, в Праге, в гостинице Баранек, причем Горький получил свою чешскую визу от самого президента Масарика.

Однако, обоих нас влекла в захолустье, и в начале декабря мы переселились в пустой, занесенный снегом Мариенбад. Оба мы в это время хлопотали о визах в Италию. Моя виза пришла в марте 1924 г., и так как деньги мои были на исходе, то я поспешил уехать, не дожидаясь Горького. Проведя неделю в Венеции и недели три в Риме, я уехал оттуда 13 апреля — в тот самый день, когда Горький вечером должен был приехать. Денежные дела заставили меня прожить до августа в Париже, а потом в Ирландии. Наконец, в начале октября, мы съехались с Горьким в Сорренто, где и прожили вместе до 18 апреля 1925 года. С этого дня я Горького уже не видел.

Ходасевич. Горький, 1936.

В основе их общежития — а писатели прожили под одной крышей более полутора лет — имелись и деловые контакты. До 1922 года в Россия существовала только военная цензура. В 1922 году она сменилась общей, крайне неуступчивой. Публиковаться стало негде: частные журналы и издательства закрывались. В это время в Берлине находился Виктор Шкловский, спасавшийся от ареста по делу социалистов-революционеров (его повинная была принята осенью 1923 года, после чего он вернулся а Россию). Ему пришла в голову идея организовать в Берлине политически нейтральный журнал, в котором могли бы участвовать авторы, живущие по обе стороны границы. Горький и Ходасевич его поддержали. Базой для журнала выбрали издательство Эпоха, совместными владельцами которого были меньшевики С.Г. Каплун-Сумский и Д. К. Долин (с 1923 года — только первый из них).

Мы — В. Ходасевич, Виктор Шкловский и я — затеваем здесь большой научно-литературный — без политики — журнал «Эпоха».

Горький, письмо к Ф. Г. Ласковой от 10.01.1923.

…это журнал аполитический, таковым он и останется, пока в нем работают проф. Ф. А. Браун, В. Ф. Ходасевич и я.

Горький, письмо к Л. М. Леонову от 2.11.1924.

Журнал состоялся под названием Беседа, предложенным Ходасевичем, под литературной редакцией Горького, Андрея Белого и Ходасевича, причем участие Белого было чисто номинальным. Всего в 1923-1925 годах вышло семь книг журнала.

Из иностранных авторов в Беседе печатались С. Цвейг, Д. Голсуорси, Ромен Роллан, из советских — Серапионовы братья. Одной из причин быстрого прекращения журнала было то, что он, несмотря на все усилия Горького, так никогда и не был допущен в Россию. Понятно, что это обострило финансовые трудности, стоявшие перед издателями. Но сыграло свою роль и другое: к середине 1925 года распался союз Горького с Ходасевичам служивший реальной основой этого издания.

Политическая ориентация Горького, при котором почти постоянно находились эмиссары Москвы, быстро менялась. Во время первой встречи с ним в июле 1992 года Ходасевич был поражен тем, что отношение Горького к советскому правительству шло много дальше его собственного, критического: оно было открыто враждебным.

Горький спешит предостеречь Ходасевича от участия в сменовеховском издании Накануне (литературный отдел там вел А. Н. Толстой), проявлявшем недопустимую толерантность к большевикам. Он решительно отказывает издателю России И. Лежневу, просившему у него рассказа: в ответ на недопуск в СССР Беседы Горький бойкотировал все советские журналы — и не сделал исключения для одного из последних независимых русских изданий на родине. Конечное примирение Горького с советской властью было продиктовало психологической невозможностью для него разрушить массовую иллюзию: легенду, сложившуюся вокруг его имени, образ передового борца за пролетариат; испортить свою героизированную, лубочную биографию. Так понимал это Ходасевич. О тщательно оберегаемой биографии Горького он писал:

…я бы не сказал, что Горький в нее поверил или непременно хотел поверить, но, влекомый обстоятельствами, славой, давлением окружающих, он ее принял, усвоил себе раз навсегда вместе со своим официальным воззрением, а приняв — в значительной степени сделался ее рабом… Но я не уверен, что он любил ее.

В 1922-1923 годах Горький не выносит сменовеховцев, а уже к середине 1925 года — открыто отмежевывается от эмигрантов. Так же быстро и в том же направления меняются и его литературные оценки, в частности, его отношение к стихам Ходасевича. Вот некоторые высказывания из его писем:

…посылаю обещанные книжки стихов; обратите внимание на Ходасевича…

16.04.1922, к Е. К. Феррари

Ахматова — однообразна, Блок — тоже, Ходасевич — разнообразен, но это для меня крайне крупная величина,

поэт-классик и — большой, строгий талант.

2.10.1922, к Е. К. Феррари

Я — поклонник стиха классического, стиха, который не поддается искажающим влияниям эпохи, капризам литературных настроений, деспотизму «мод» и «законам» декаданса. Ходасевич для меня неизмеримо выше Пастернака, и я уверен, что талант последнего, в конце концов, поставит его на трудный путь Ходасевича — путь Пушкина.

10.10.1922, к Е. К. Феррари

Ходасевич пишет совершенно изумительные стихи.

13.03.1923, к М. Л. Слонимскому

По словам Ходасевича, лучшего, на мой взгляд, поэта современной России…

15.03.1923, к К. А. Федину

Ход., прежде всего, прекрасный поэт. Затем он действительно зол. Очень вероятно, что в нем это — одно из его достоинств, но, к сожалению, он делает из своей злобы — ремесло.

21. 03. 1925, к М. Л. Слонимскому

Зол он. И, как-то, неоправданно зол. И не видишь: на что он мог бы не злиться.

13. 11. 1926, к Д. А. Лутохину

Охлаждение Горького к Ходасевичу наметилось во второй половине 1923 года и затем прогрессировало. Ему способствовали эстетические и политические разногласия, бывшие изначально — и лишь временно заслоненные взаимной человеческой симпатией. Но его подлинной причиной было, несомненно, отношение Ходасевича к творчеству Горького, — а возможно, и конкретная обида, с этим отношением связанная. Легко представить себе, что Ходасевич не вызывал Горького на разговоры о его сочинениях, но на прямые вопросы давал прямые ответы. Вот характерный диалог между писателями:

— А скажите, пожалуйста, что мои стихи, очень плохи?

— Плохи, Алексей Максимович.

— Жалко. Очень жалко. Всю жизнь я мечтал написать хоть одно хорошее стихотворение.

Ходасевич. Горький, 1936.

Горький считает себя реалистом — Ходасевич видит в нем романтика, а в его «полуреальном, полувоображаемом типе благородного босяка», выведенном «на фоне сугубо реалистических декораций», — «двоюродного брата того благородного разбойника, который был создан романтической литературой». Еще в 1906 году, в самом начале своего

писательского становления, Ходасевич скептически высказывался в печати о художественности сочинений Горького и писателей его круга; Горький знал эти отзывы.

В ноябре 1923 года Горький пишет Ходасевичу, что «зверство» и «духовный вампиризм» большевиков, именно — Н. Крупской и М. Сперанского, устроивших в России разгром массовых библиотек****, побуждают его «писать заявление в Москву о выходе… из русского подданства».

**** ***Так называемый Указатель об изъятии антихудожественной и контр-революционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя, запрещал книги Платона, И. Канта, А. Шопенгауэра, В. Соловьева., И. Тэна, Д. Рёскина., Ф. Ницше, Л. Толстого, Н. Лескова, И. Ясинского. Отделы религии в библиотеках должны были впредь содержать только антирелигиозные книги. Все это и вызвало возмущение Горького.***

Этот жест Ходасевич назвал «театром для себя»: оба, отправитель и адресат, в равной мере сознавали, что Горький не хочет объявить себя эмигрантом, не может протестовать всерьез; но и вовсе смолчать в этом случае он стыдился. Письмо это было жестом неловкого оправдания, знаком зависимости Горького от Ходасевича, чей авторитет в русской эмигрантской общественности продолжал, в отличие от его собственного, оставаться незыблемым. Такого рода неловкости накапливались.

Для быстро большевеющего Горького становится сначала неудобной, а затем и невыносимой нравственная тирания Ходасевича.

Так, на фоне растущих политических разногласий, подкрепленная разногласиями литературными и питаемая обидами, начала вырисовываться легенда о злом Ходасевиче. Она была тут же подхвачена обиженными и литературной сворой и, в ряду прочих причин, способствовала закрытию для Ходасевича пути к русско-советскому читателю.

Был ли Ходасевич в действительности зол? Вопрос этот важен для уяснения его человеческого облика. О злости и всезнайстве Ходасевича говорят и другие современники, в частности, Бунин. И все же эти высказывания не кажутся мне убедительными. Современники часто не могут избежать этической аберрации при взгляде на писателя. Бытовое острословие, сухость, умение держать людей на некотором расстоянии — еще не злость: скорее защитная оболочка, а защищаться было от кого. Притом свое последнее слово писатель произносит не в застольной беседе, а в своих сочинениях. И тут выясняется, что Ходасевич вовсе не зол. Он отказывается петь хвалу народным кумирам, но его

литературная и человеческая непредвзятость позволяют ему видеть и отмечать достоинства даже у безнадежно скомпрометированных авторов. Ходасевич знал, что в дрейфующем сознании Горького и в его высказываниях он из «поэта-классика», противопоставляемого декадентам, всего за каких-нибудь три года слинял в «символиста по должности». Это не помешало ему откликнуться на смерть пролетарского писателя следующего рода злословием:

В отличие от очень многих, он не гонялся за славой и не томился заботой о ее поддержании; он не пугался критики, так же как не испытывал радости от похвалы любого глупца или невежды; он не искал поводов удостовериться в своей известности, — может быть потому, что она была настоящая, а не дутая; он не страдал чванством и не разыгрывал, как многие знаменитости, избалованного ребенка. Я не видел человека, который носил бы свою славу с большим умением и благородством, чем Горький.

Перелистав Некрополь и другие сочинения Ходасевича мемуарного характера, мы найдем много столь же добросовестных высказываний о писателях, ни в каком смысле ему не близких, а порою и очень далеких. Нелегкий свой долг — «исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова» — Ходасевич-мемуарист выполнил с большим достоинством.

Со второй половины 1920-х годов началось окончательное, уже безвозвратное падение Горького. Но Ходасевич и лучшая часть эмиграции, как поруганная совесть, продолжают тревожить его. Вот какие странные вещи пишет Горький в письме к редактору журнала За рубежом М. Е. Кольцову (от 19.12. 1932):

Отличная идея дать статью о поэзии эмигрантов. Поэзия — насквозь пессимистическая, образцы — прилагаю, вырезал из юбилейной — 50-й книги «Совр. записок», «юбилейность» следует подчеркнуть. Но вместе с этим следует, мне кажется, обратить внимание наших поэтов на ловкость, на умение, с коими эмигранты делают из дерьма изящнейшие козюльки, тогда как наши ребята отличнейший материал превращают в словесное дерьмо…

…пессимизм этот весьма гимназический и — наверное — у многих поэтов является «служением традициям школы», мэтр которой — Ходасевич.

Даже в лучшие свои дни Горький не был правдолюбцем. Четыре стиха из Безумцев Беранже («Господа, если к правде святой…» и т. д., в переложении В. С. Курочкина), угодившие в его пьесу, были, без преувеличения, девизом всей его жизни. Хорошо известно, что он не выносил дурных вестей и

предпочитал им открытую ложь — свою и чужую. Ходасевич, настаивавший на том, что «истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины», уважал Горького — быть может, к несчастью для себя. Это ставило его в трудное положение. Именно уважая Горького и живя с ним в тесном контакте, он не мог, сам того не желая, не разоблачать обиходной лжи и не оспаривать слишком утопических видений золотого сна. В письме Горького к А. П. Чапыгину от 13 августа 1925 читаем:

Я и знаю, и хорошо чувствую, как тяжело положение писателя в современной России. Но почему-то все крепче надеюсь, что это скоро минует…

Может быть, это самоутешение? Не знаю. Но я «люблю верить», как на днях упрекнул меня поэт Ходасевич. Верю же я только в человека. Только в него. Это вся моя религия, весьма мучительная, но в той же мере и радостная. Так-то.

Ходасевич тяготился своей невольной обязанностью и страдал не меньше Горького. Разрыв назревал с двух сторон. Прекращение Беседы давало ему повод покинуть Сорренто: 18 апреля он и Н. Н. Берберова уезжают в Париж, ставший к тому времени столицей русской литературной диаспоры. Поэт понимал значение этой разлуки с Горьким.

…Ходасевич сказал мне: мы больше никогда его не увидим. И потом… добавил с обычной своей точностью и беспощадностью:

— Нобелевской премии ему не дадут, Зиновьева уберут, и он вернется в Россию.

Н. Н. Берберова. Курсив мой, 1972.

Формально издатели Беседы расстались друзьями и продолжали переписываться. Известны пять писем Горького: от 15, 19 и 29 мая, от 20 июля и затем от 13 августа. На это последнее, промучившись несколько дней, Ходасевич решил не отвечать вовсе. Как и два предыдущих, оно пересыпано самоутешительными прожектами и мелкой просоветской ложью. Ходасевич выбился из сил, деликатно растолковывая Горькому то, что́ тот прекрасно знал и сам, — и, наконец, сделал решительный шаг.

* * *

Зоил (пройдоха величавый,
корыстью занятый одной)
и литератор площадной

(тревожный арендатор славы)
меня боятся потому,
что зол я, холоден и весел,
что не служу я никому,
что жизнь и честь свою я взвесил
на пушкинских весах, и честь
осмеливаюсь предпочесть.

Набоков

Всегда, исключая только годы студенчества и военного коммунизма, основным источником средств к существованию для Ходасевича были литературные заработки. При этом он понимал, что чрезмерная эксплуатация поэтического вдохновения гибельна и недостойна: нельзя превращать музу в дойную корову. Поэту мы бываем благодарны не только за написанное им, но также и за то, чего он не написал. Еще в России Ходасевич печатал рассказы, критические и библиографические статьи, занимался литературоведением, сочинил и издал детскую сказку. В 1925 году, декларируя себя эмигрантом, он знал, что заработки будут малы и случайны; но знал также, что они будут.

Первое соприкосновение Ходасевича с парижской эмиграцией летом 1924 года не способствовало оптимизму. Но дорога в Россию была для него закрыта: его имя оказалось в одной из первых проскрипций, — в списке большой группы профессоров и писателей, намеченных к депортации, — и его добровольный отъезд в начале 1922 года лишь предотвратил насильственную высылку в конце того же 1922 года. И все-таки он долго не решался «поставить обе ноги на почву, которая считается твердой» (Н. Н. Берберова). В апреле 1925 года, окончательно осев в Париже, он оказался в положении более чем неустойчивом, перед лицом мрачного, безрадостного будущего.

В советской России литература первой русской эмиграции обыкновенно представлялась явлением искусственным и нежизнеспособным, и объяснялось это ее эмигрантской природой. Но Ходасевич помнил, что величайшие творения польской поэзии сложились в XIX веке в условиях непримиримой и безнадежной эмиграции, помнил, что эмигрировать собирались Державин и Пушкин, — и не считал отрыв от почвы препятствием творчеству. Слабость русской эмигрантской литературы он видел в том, что она — не в достаточной степени эмигрантская. Да и самая слабость эта была не такова, какою могла казаться в Париже, в двадцатые и тридцатые годы. Представление о ней возникло в рефлексирующем сознании русских изгнанников, которым

хотелось, чтобы вся литература ушла из России вместе с ними, — и со злорадной готовностью было подхвачено и раздуто несклонной к рефлексии литературой пролетарской. Не забудем: И. А. Бунин, И. С. Шмелев, Б. К. Зайцев, А. И. Куприн, А. М. Ремизов, П. П. Муратов, В. В. Вейдле, Д. С. Мережковский, Зинаида Гиппиус, М. А. Алданов, М. А. Осоргин, Ф. А. Степун, Тэффи, С. Л. Рафалович, В. А. Амфитеатров, Ю. И. Айхенвальд, Георгий Адамович, Ирина Одоевцева, Георгий Иванов, Н. А. Оцуп, Марина Цветаева, Владимир Набоков и еще очень и очень многие — были эмигрантами. Цветаева и Набоков целиком сложились в эмиграции. Ходасевич написал в изгнании свою лучшую прозу и драгоценнейшие из своих стихов. Вспомним далее, насколько это в наших силах, забытое, незамеченное поколение: Б. Поплавского, В. Смоленского, А. Ладинского, Анну Присманову, Ирину Кнорринг, Нину Берберову, Зинаиду Шаховскую, А. Гингера, Юрия Мандельштама, Илью Зданевича, Б. Божнева, Ю. Одарченко, Ю. Терапиано, Ю. Фельзена, Г. Венуса, С.Либермана, В.Сосинского — всех тех, кого русская литература в той или иной степени принесла в жертву русской революции. И тогда, возможно, не покажется чрезмерным преувеличением мысль о том, что литература первой эмиграции качественно не уступает русско-советской, взятой на том же временном интервале.

Обосновавшись в Париже, Ходасевич становится по преимуществу литературным критиком: сначала в газете А. Ф. Керенского Дни (в 1925-1928 годах она издавалась в Париже), затем в газете П. Н. Милюкова Последние новости и, наконец, с 1927 года до самой своей смерти — в газете Возрождение (ее первым редактором был П. Б. Струве), где вместе с М. А. Алдановым он заведует литературным отделом. Ходасевич печатается и в других газетах и журналах, которых тогда было много.

Важнейшим изданием эпохи становится толстый журнал Современные записки, в числе руководителей которого были известные еще в России публицисты и общественные деятели социалистической ориентации: М. В. Вишняк, А. И. Гуковский, В. В. Руднев, Н. Д. Авксеньтьев, И. И. Фондаминский. Журнал просуществовал 20 лет: с 1920 по 1940 год. Культурное значение его было столь велико, что к началу 1970-х многие западные университетские библиотеки подняли вопрос о переиздании всех семидесяти томов журнала. Его полный оригинальный комплект давно превратился в библиографическую редкость.

Ходасевич был в числе немногих писателей старшего поколения, видевших в молодежи не конкурентов, а смену.

В газету «Возрождение», как и в журнал «Современные

Записки», Ходасевич привлек целую плеяду молодых эмигрантских поэтов и писателей… Вокруг него как поэта и критика группировалось все то, что было наиболее жизнеспособным в условиях эмиграции. Эта жизнеспособность отличает сейчас окружение Ходасевича от тех, кто группировался вокруг Марины Цветаевой и «Цеха Поэтов».

Н. Берберова. Предисловие к: В. Ф. Ходасевич. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954.

Литературная критика становится суверенной областью Ходасевича, где он вынужден был делить власть разве что с Георгием Адамовичем. Но его пиетет как поэта, критика и литературоведа распространяется лишь на литературные круги — на часть этих кругов — и не спасает от бедности и унижений. Во главе печатных органов стояли, как правило, политики и революционеры, все помыслы которых были направлены на скорейшее облегчение участи России. Стихов они не понимали и не любили, не понимали они и значения Ходасевича для русской культуры и его ужасного положения, которому часто сами невзначай способствовали. Вот фрагмент, рисующий одновременно частную и общественную жизнь поэта и относящийся, вероятно, к 1926 году:

Я не могу оставить Ходасевича более чем на час: он может выброситься в окно, может открыть газ… Он встает поздно, если вообще встает, иногда к полудню, иногда к часу. Днем он читает, пишет, иногда выходит ненадолго, иногда ездит в редакцию «Дней». Возвращается униженный и раздавленный. Мы обедаем. Ни зелени, ни рыбы, ни сыра он не ест. Готовить я не умею. Вечерами мы выходим, возвращаемся поздно. Сидим в кафе на Монпарнасе, то здесь, то там, а чаще в Ротонде… Ночами Ходасевич пишет.

Н. Н. Берберова. Курсив мой, 1972.

Документы апатрида не давали Ходасевичу права работать на жалованье, оставляя ему лишь свободные профессии, например, писательство: другой у него и не было.

Французские журналы в те годы и слышать не хотели о сотрудничестве с русскими эмигрантами: все изгнанники без разбора расценивались как буржуазные акулы, бежавшие от справедливого народного гнева. «В 1925-1935, несмотря на самоубийства Есенина и Маяковского, на трудности Эренбурга, на исчезновение Пильняка, на слухи о беспокойстве Горького, вера в то, что СССР несет молодому послевоенному миру и в особенности левому искусству обновление, необозримые перспективы, была на Западе сильнее всех колебаний и

сомнений» (Н. Н. Берберова). Оставалась эмигрантская пресса, с ее грошовыми гонорарами, политической узостью, ожесточенной конкуренцией и расчетом на массового читателя. П. Н. Милюков прямо говорит Ходасевичу (вероятно, в 1927 году), что тот его газете «совершенно не нужен». Дон Аминадо, Лоло (Л. Г. Мунштейн), Тэффи, а затем и Берберова, закрепившаяся, в отличие от Ходасевича, в Последних новостях, — пользуются гораздо большей популярностью, а значит — и всеми вытекающими отсюда преимуществами. Бедность была нешуточной: 40, а то и 30 франков в день на двоих, что ощутимо ниже той нормы в 60 франков, которая обеспечивала, по Э. Хемингуэю, скромное, но сносное существование вдвоем в эти годы. Берберова в автобиографии по счету приводит предметы домашней утвари, которыми они располагали.

Молодость легко справляется с подобного рода трудностями. Ходасевич уже немолод и тяжело болен. Он плохо спит, много кашляет, его мучают долгие боли где-то глубоко внутри. Доктор М. К. Голованов, лечивший его бесплатно, полагает, что это печень, «но диеты не дает, потому что никакой диеты Ходасевич держать не может: он всю жизнь (кроме голода революционных лет) ест одно и то же: мясо и макароны» (Н. Н. Берберова). Туберкулез позвоночника подлечен, но то и дело возвращается фурункулез: зима 1920 года не прошла для него даром. Лечение почти не приносит результатов, будущее не сулит облегчения. При всем том ему нужно работать.

«Постепенно он все меньше писал стихов и все больше становился критиком» (Н. Н. Берберова). Здесь мы касаемся второй части легенды, сложившейся вокруг Ходасевича: разрыв с отечеством, жалкое положение эмигранта — погубили в нем поэта.

В эмиграции колдуны умирают от голода духовного… Вл. Ходасевич, переехав в Париж, тоже печатно заявляет о своей эмигрантской благонадежности.

М. Горький. Письмо к К. А. Федину от 17 сентября 1925.

Стихи же ему изменили, и с этой изменой он ничего не мог поделать… его молчание как поэта страшней и мучительней, чем у кого бы то ни было. Ходасевич умер в 1939 году. За последние двенадцать лет своей жизни он написал с десяток не лучших своих стихотворений.

В. Андреев. Возвращение в жизнь. — Звезда, 1969, №6.

Горестное существование эмигранта подкосило Ходасевича. Газетная работа спасала от полной нищеты, но не давала возможности заняться своим делом, делом писателя.

Вл. Орлов. Перепутья. М., 1976.

Все эти высказывания грубо тенденциозны. Стоит ли напоминать читателю о судьбах внутренних эмигрантов, правых попутчиков и тех несчастных, которые решились вернуться? Ходасевич до последнего дня зарабатывал себе на хлеб литературным трудом, не служа никому: ни прямо, ни косвенно; он умер в 1939 году своей смертью — и без малейших признаков ностальгии. Последнее обстоятельство так и осталось загадкой для тех, чье сознание определяется бытием.

Умер Ходасевич незадолго до войны. Он был типичным представителем «искусства для искусства». В отличие от Бунина и Куприна, от Шаляпина и Алехина, он тоски не испытывал, так как жил фикциями, не сознавая, что индивидуализм, который он проповедовал, обедняет, сковывает его поэтические возможности. «В собственном соку» ему было хорошо, потому что он не знал подлинного простора.

Л. Любимов. На чужбине. — Новый мир, 1957, №3.

Слог выдает писателя с поличным: ему можно не возражать. Замечу лишь, что Любимов проявляет в своих воспоминаниях трудно объяснимую непоследовательность, которую не списать даже на редакторские вторжения. Чувствуется, что в глубине души он восхищается Ходасевичем, но это — опасливое восхищение. Таковы же в своих заметках и цитированные выше критики. Но мысль, высказанная Л. Любимовым, кажется вполне правильной. Несомненно, фикция, т.е. художественная литература, а точнее — русская поэзия, была подлинным отечеством Ходасевича, его духовной родиной. Сохранился набросок стихотворения, воспроизведенный Берберовой по памяти и возникший не позднее начала 1922 года:

Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладанки с землей родимой
Мне мой отец не завещал.
Россия пасынок, о Польше
Не знаю сам, кто Польше я,
Но восемь томиков, не больше, —
И в них вся родина моя.
Вам под ярмо подставить выю
И жить в изгнании, в тоске,
А я с собой мою Россию
В дорожном уношу мешке.

Речь здесь идет о восьмитомнике Пушкина, чуть ли не единственном имуществе, вывезенном Ходасевичем за рубеж. Ломоносов, Державин, Пушкин, образы, приводимые в движение этими и другими драгоценными именами, — определенно значили в его понимании родины больше, чем вся география и политика современной ему России, вместе взятые. «Все можно вырвать иль выжечь из нашей памяти, но Медного Всадника, но украинской ночи, но Тани Лариной мы не забудем», напишет он в 1928 году. Теперь почти очевидно, что благоговейно хранимые поэтические тексты явились тем скрепляющим звеном, которое позволило русским в эмиграции остаться народом, не раствориться в Вавилоне западной цивилизации. Ходасевич одним из первых почувствовал это. Незадолго до смерти он сказал о четырехстопном ямбе:

«Он крепче всех твердынь России, / Славнее всех ее знамен…».

Конечно, Ходасевич страдал от утраты фактической России, одновременно «омерзительной» и «чудесной». Н. Н. Берберова вспоминает о приступах отчаяния, по временам овладевавших им: в 1924 году «Ходасевич говорит, что не может жить без того, чтобы не писать, что писать может он только в России, что он не может жить без России, что не может ни жить, ни писать в России». Эти слова показывают, что он (действительно — в отличие от многих) понимал: той России, без которой нельзя ни жить, ни писать, более не существует, а есть другая: та, где нельзя — ни жить, ни писать. И есть третья, главная, незаслонимая омерзительной маской, недоступная тлению, инвариантная Россия — в четырехстопном ямбе, в Пушкине, в нем самом. Видно, что и эта (вслед за его пресловутой злостью) часть бытующего представления о Ходасевиче — неверна: не эмигрантская, а человеческая судьба его сложилась так, что стихи постепенно уступили в ней место прозе. Страдания и болезни тоже сыграли здесь свою роль.

Основу прозы, написанной Ходасевичем в изгнании, составляют три вышедшие при его жизни книги: Державин (1931), сборник статей О Пушкине (1937) и его мемуары — Некрополь (1939). Первую из них В. Андреев определил как «лучшее, что о Державине написано». Это настолько верно, что даже советские энциклопедии, БСЭ и КЛЭ, признали этот труд «сохраняющим значение». В тех же словах отдают они дань и работам Ходасевича о Пушкине, в том числе — «Интереснейшему» (В. Андреев) сборнику 1937 года. Второе из этих сделанных сквозь зубы признаний очень многозначительно. Если интерес к Державину, «лже-классицисту», певцу Фелицы и царскому министру, не мог в

советской России гарантировать надежный кусок хлеба в 1920-1930-е годы, то племя пушкиноведов было здесь многочисленно всегда, с первых дней. Этим аборигенам необходимо было отстаивать свою территорию от «буржуазного защитника Пушкина» — так в 1938 году назвал Ходасевича В. Десницкий.

Иногда они это делали с излишней горячностью. Несмываемым пятном в биографии Б. В. Томашевского останется его рецензия 1924 года на Поэтическое хозяйство Пушкина, полная откровенных передергиваний, выдержанная в том специфическом и так унижающем автора тоне, который свидетельствует не о бескорыстном интересе к вопросу, а о живо затронутых амбициях. Ходасевич опротестовал ее по существу, попутно упрекнув Б. Томашевского в «занесении дурных нравов в русскую литературу». Ответ советского ученого явился уже полным сдергиванием маски исследователя — под нею оказалась спесивая гримаса: «…я полагаю, что даже вопроса о конкуренции моей с Ходасевичем в области изучения Пушкина возникнуть не может», — вот его основной тезис. Действительно, вопроса о конкуренции не было.

Чуждый профессиональному ожесточению, Ходасевич смотрел на Пушкина глазами поэта, т.е. с недоступной для Б. Томашевского точки зрения, — потому и сделанные им наблюдения столь значительны.

Полемика с Б. Томашевским показывает, чего стоило советскому пушкиноведению признание Ходасевича. Иначе обстоит дело с Некрополем, «злыми, удивительно меткими и неприятными воспоминаниями» (В. Андреев), лишь глухо упомянутыми в КЛЭ. Признание этой книги означало бы разрушение не только тщательно отредактированных агиографий Горького, Брюсова, Белого и Блока, но и всей с таким трудом воздвигнутой и едва удерживаемой декорации, заслоняющей живую картину серебряного века. Косвенно о значении Некрополя дает представление уже то, что советские литературоведы (Ц. Вольпе, Вл. Орлов и т.п.) щедро заимствовали и фактический материал книги, и целые куски — в форме пересказа или цитаты под ремаркой «один наблюдательный современник пишет»; а также то, что фрагменты Некрополя — нечастый случай для мемуарной прозы — имели хождение в самиздате. Ни одна из трех книг прозы Ходасевича не была переиздана в СССР.

В 1954 году, в Нью-Йорке, Н. Н. Берберова издала еще один сборник Ходасевича: Литературные статьи и воспоминания. Он содержит работы о русских классиках: Дмитриеве, Вяземском, Дельвиге, Гоголе, о современниках поэта (от В. Маяковского до Б.

Поплавского) и некоторые из его воспоминаний, в основном, о годах военного коммунизма. Значение литературоведческой части этой книги не столь несомненно, как вклад Ходасевича в пушкинистику, хотя и здесь мы находим острые, концентрированные суждения о нашей литературе и глубокое проникновение в ее природу и историю. Зато собранные Н. Н. Берберовой очерки мемуарного характера не уступают лучшим страницам Некрополя — и естественно дополняют их. Замечательны и отзывы о литераторах, с которыми судьба столкнула Ходасевича. В статье о Маяковском, например, показана психология врастания этого псевдофутуриста в пролетарскую культуру, его путь от эпатажа общественного мнения до открытого конформизма. Ходасевич считает, что пресловутый титул поэт революции — маска, скрывающая приспособленца, державшего нос по ветру. Приспособленец не всегда понимает свои истинные мотивы, но глупость — не оправдание для поэта. Маяковский, по мнению Ходасевича, предал футуризм, взорвал его изнутри, подменив на глазах у своих ненаблюдательных соратников отрицание смысла, составляющее сущность футуризма, — огрублением формы. Другая статья Ходасевича о Маяковском, столь выразительно названная Декольтированная лошадь, вконец испортила некогда дружеские отношения его с крупным зарубежным славистом Р. О. Якобсоном, горячим приверженцем Маяковского, «формалистом и неисправимым романтиком» (Н. Н. Берберова). В целом это посмертное издание, при всей его значительности, далеко не исчерпывает написанного Ходасевичем в эмиграции, обходя его небольшие по объему, но важные критические заметки. Не вошла в него и незаконченная автобиографическая повесть Младенчество, напечатанная лишь в 1965 году, один из лучших образцов русской прозы, созданной в диаспоре.

Стиль прозы Ходасевича восходит непосредственно к пушкинскому: та же суховатая экономично-сдержанная манера, проникнутая ровным и мощным вдохновением; тот же отстраненный, цепкий и пристальный взгляд, не оставляющий места проходным образам и сусальному пафосу; то же умение с аристократическим достоинством отодвинуть на второй план фигуру автора-наблюдателя, то же мужество. Стиль спасает даже те из работ Ходасевича, которые теперь, в свете позднейших исследований, кажутся неудачными, — например, его статью, посвященную Слову о полку Игореве: рассеянные в ней замечания общего характера — о реализме, об эстетической логике, о Державине — придают и ей ценность и интерес бóльшие, нежели просто документу эпохи.

Мы видели, с каким победительным злорадством воспринимали поэтическое молчание Ходасевича его недоброжелатели — Вл. Орлов, Л. Любимов, В. Андреев. Иначе относились к нему друзья. Марина Цветаева в письме к Зинаиде Шаховской от 5 июня 1936 пишет: «На 50-летнем юбилее Ходасевича видела весь Монпарнас… Подарила Ходасевичу хорошую тетрадку "для новых стихов" — может быть — запишет, т.е. сызнова начнет писать, а то годы — ничего, а — жаль…» (З. Шаховская. Отражения. Париж, 1975). Дружба М. Цветаевой с Ходасевичем завязалась еще в Москве, вероятно, в 1918 году, когда Цветаева, после публикации под одной с ним обложкой, «везде и непрестанно повторяла» его стихотворение Смоленский рынок. Имея в своей основе лишь человеческую симпатию, а не эстетическое единомыслие, дружба эта не была ни близкой, ни безмятежной. В своей книге о Цветаевой, изданной в 1966 году, американский исследователь Симон Карлинский пишет:

Ее отношения с Владиславом Ходасевичем, единственным равным ей среди живущих за границей русских поэтов, были сложными — симпатия смешивалась в них с неприязнью. Отношение Ходасевича к ней также было неоднородным, и только в последующее десятилетке [т. е. в 1930-е годы] эти два несхожих поэта, ощущавшие все более глубокую изоляцию в новой литературной среде, нашли общий язык.

Журнал Часы (самиздат), № 16, Ленинград, 1979.

Но сам Ходасевич не дал нам ни малейшего повода думать, что трагедию утраты поэтического голоса он переживал острее, чем трагедию человеческой жизни. В следующем стихотворении, написанном в 1924 году, он спокойно, с улыбкой, предсказывает свое молчание — и связывает его разве лишь с утратой молодости, а с самим молчанием — и это удивительнее всего — связывает новые надежды.

Пока душа в порыве юном,
Ее безгрешно обнажи,
Бесстрашно вверь болтливым струнам
Ее святые мятежи.
Будь нетерпим и ненавистен,
Провозглашая и трубя
Завоеванье новых истин, —
Они ведь новы для тебя.
Потом, когда в своем наитьи
Разочаруешься слегка,
Воспой простое чаепитье,

Пыльцу на крыльях мотылька.
Твори уверенно и стройно,
Слова послушливые гни,
И мир, обдуманный спокойно,
Благослови иль прокляни.
А под конец узнай, как чудно
Все вдруг по-новому понять,
Как упоительно и трудно,
Привыкши к слову — замолчать.

Почти несомненно, что стихотворение Пастернака «Здесь будет все пережитое» (1934) так или иначе связано с этими стихами Ходасевича: об этом говорит не столько даже смысловой повтор (призыв к поэтическому молчанию), сколько повтор интонационный. При всей изумительной гибкости четырехстопного ямба Пастернак выбирает в нем ту единственную ноту, на которой на десять лет раньше прозвучали стили Ходасевича. Вслушаемся:

Есть в творчестве больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

Обращение к Ходасевичу подтверждается и следующей сентенцией из того же стихотворения Пастернака: «Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту…». Пастернак, конечно, знал пророчество Горького о том, что талант рано или поздно «поставит его на трудный путь Ходасевича — путь Пушкина».

Возможно, что стихи Ходасевича, подкрепленные этой репликой, сыграли не последнюю роль в повороте к лексической ясности, так выигрышно отличающей последний период творчества Пастернака.

В 1927 году в издательстве Возрождение выходит Собрание стихов Ходасевича — последняя книга стихов, подготовленная самим поэтом. В нее включены Путем зерна, Тяжелая лира и новые, написанные в эмиграции, стихи под общим заглавием Европейская ночь: всего 112 стихотворений, менее половины из числа созданных Ходасевичем, даже если не брать в расчет стихотворные переводы. Перелистывая последний раздел сборника, Европейскую ночь, замыкающую авторское пятикнижие, мы невольно вспоминаем слова Андрея Белого о том, что в стихах Ходасевича нет ни капли влаги. Все влажно-

интимное, все расплывчато-неопределенное, все то, что сообщало некогда неотразимую чувственную притягательность поэзии символистов, создавало в ней иллюзию близкого присутствия мировой тайны, — все это окончательно изгнано отсюда. Рифмы и звукопись тут вызывающе бедны, краски демонстративно блеклы: потому что дело не в этом.

В зиянии разверстых гласных
Дышу легко и вольно я.
Мне чудится в толпе согласных
Льдин взгроможденных толчея.

Гласных–согласных в рифме — это ведь почти хрестоматийная нелепость, почти пальто–полупальто, рифма, которой маститые наставники дразнят начинающих поэтов.

Но — опять вспомним слова Андрея Белого***** — почти.

***** ***«Как в "чуть-чуть" начинается тайна искусства, "почти" — суть поэзии Ходасевича…» (1922).***

Поэзия, как и жизнь, совершается по определенным правилам, и разрушать их значит всего лишь создавать новые. Однокоренные слова рифмовал Пушкин. Изощренная рифма ошеломляет только новичков, и малейший элемент натянутости в ней мгновенно обесценивает поэзию. В действительности из стихов Ходасевича вместе с влагой ушло не искусство, а искусственность, обнажив сокровенную иррациональность поэзии, ее изначальную тайну. То же, что о рифме, можно сказать и о пышной звукописи. В разреженном воздухе послевоенной Европы любое подобие барокко ничему не соответствовало, было простой ложью. Элементарная в смысле отбора средств поэзия Ходасевича точно передает строй и смысл его клонящейся к закату жизни на фоне этой Европы, рельефно и ярко рисует лирическую индивидуальность поэта:

Вдруг из-за туч озолотило
И столик, и холодный чай.
Помедли, зимнее светило,
За черный лес не упадай!

Дать в четырех стихах столь выразительный автопортрет, не прибегая к личному местоимению, — искусство, доступное лишь очень немногим. Цельность и полнота, с которыми предстоит нам Ходасевич в своих последних стихах, поистине монументальны.

«В некоторых его стихах подвергается критике буржуазно-мещанская цивилизация Запада», — говорит о Европейской ночи

БСЭ. Еще раньше в том же смысле высказывался Горький: «Вне поисков "цветов зла" ум его ленив». Эти замечания поверхностны и схематичны. Ходасевич был далек от плоской идеи что-либо критиковать в своих стихах, не занимался он и выискиванием язв современного ему общества. Но правда и то, что стремительная демократизация европейского мира и, как следствие этого, захлестнувшая его волна всеобщего мещанства, не оставили творческий инстинкт поэта бездеятельным. Своеобразная психологическая ситуация 1920-1930-х годов обозначилась тогда у некоторых художников как потребность в ёрничестве, юродстве: этом изнаночном проявлении духовного аристократизма, родственном футуризму. В кинематографе она тотчас нашла своего выразителя в лице Чарли Чаплина. В русской поэзии Петрограда явились обэриуты: Заболоцкий, Введенский и Хармс, в Париже на нее неожиданно отозвался Ходасевич. Шесть последних стихотворений Европейской ночи образуют не выделенный общим названием цикл о маленьких, обездоленных людях: «жалость», «нежность» и «ненависть» * мешаются в авторском отношении к ним. Из этой смеси рождаются лирические герои стихотворений Баллада (1925) и Джон Боттом (1926), поведение которых абсурдно.

* ***В наброске, относящемся к 1925-1927 годам, Ходасевич дает ключ к своему пониманию нового мещанства:***

Как больно мне от вашей малости,
От шаткости, от безмятежности.
Я проклинаю вас — от жалости,
Я ненавижу вас — от нежности.

Абсурдизм Ходасевича несравненно мягче и тактичнее, чем у петербуржцев, — настолько же, насколько мещанство Парижа было галантнее самодовлеющего мещанства России. У обэриутов, с их черным юмором и презрением к красоте, автор сам, в акте творения, юродствует перед читателем. У Ходасевича — лишь герой стихотворения ведет себя неадекватно обстановке.

За что свой незаметный век
Влачит в неравенстве таком.
Беззлобный, смирный человек
С опустошенным рукавом?
Тогда, прилично шляпу сняв,
К безрукому я подхожу,
Тихонько трогаю рукав
И речь такую завожу:

— Pardon, monsieur, когда в аду
— За жизнь надменную мою
— Я казнь достойную найду,
— А вы с супругою в раю
— Спокойно будете витать,
— Юдоль земную созерцать,
— Напевы дивные внимать,
— Крылами белыми сиять, —
— Тогда с прохладнейших высот
— Мне сбросьте перышко одно:
— Пускай снежинкой упадет
— На грудь спаленную оно.
Стоит безрукий предо мной
И улыбается слегка,
И удаляется с женой,
Не приподнявши котелка.

Идея футуристов — épater les bourgeois — утратила свою потенциальную энергию уже к началу первого десятилетия XX века. Мещанин, вместо того, чтобы быть эпатированным, кинулось восторженно приветствовать всякое проявление новаторства. Футуристы смотрели на мещанство сверху; абсурдизм 1920-1930-х годов явился как взгляд на мещанство изнутри и чуть ли не снизу: новое демократизированное мещанство было тотальным, торжествующим. Недоступное эпатажу, чуждое рукоплесканий, апатичное — оно вовсе не замечало художника, вовлекало его в свою социальную утробу. Но природа этих двух течений была, в сущности, одинакова: она — в бессилии художника перед победоносной пошлостью, в искушении ответить ее носителю пародией, утрирующей абсурдность действительности.

Ходасевич лишь ненадолго оказался затронутым этим веянием эпохи — и сделал шаг в сторону своих эстетических антиподов, футуристов и обэриутов. В последних четырех стихах Европейской ночи он оправдывает свои цветы зла:

Нелегкий труд, о Боже правый,
Всю жизнь воссоздавать мечтой
Твой мир, горящий звездной славой
И первозданною красой.

Но уступка эта была столь односторонней и невыразительной, что стихи его в художественном отношении только выиграли, приобретя новые семантические обертоны.

Освобождение от метафоричности, от виноградного мяса поэзии — Ходасевич рассматривал как свое завоевание. Только этим и можно объяснить то, что за пределами Европейской ночи (и вообще собрания 1927 года) остался целый ряд прекраснейших стихотворений — среди них, например, такое:

Трудолюбивою пчелой
Звеня и рокоча, как лира,
Ты, мысль, повисла в зное мира
Над вечной розою — душой.
К ревнивой чашечке ее
С пытливой дрожью святотатца
Прильнула — вщупаться, всосаться
В таинственное бытие.
Срываешься вниз головой
В благоухающие бездны —
И вновь выходишь в мир подзвездный,
Запорошенная пыльцой.
И в свой причудливый киоск
Летишь назад, полухмельная,
Отягощаясь, накопляя
И людям — мед, и Богу — воск.

Такого рода пренебрежение к своему несомненному успеху (ибо Ходасевич, при всей его взыскательности, не мог не сознавать, что это успех) кажется неоправданной расточительностью **, — но потребность выдержать общую тональность книги оказалась для него настоятельнее.

** ***Быть может, поэт и не пренебрег этим стихотворением, а лишь, приберег его — для следующей книги, для другой, более восприимчивой к метафорам эпохи.***

(Заметим еще, что турецкое по своему происхождению слово киоск, смущавшее советского читателя, пришло из Западной Европы и означает, собственно, павильон.)

Некоторые критики и мемуаристы утверждают, что упадок Ходасевича прослеживается уже в Европейской ночи.

«Европейская ночь», в которую вошли стихи, написанные Ходасевичем за пять лет (1922-1927), совсем небольшая книжка: в ней всего двадцать девять стихотворений.

В. Андреев. Возвращение в жизнь. 1969.

Есть разные мнения о том, что такое книга стихов. Евгений Боратынский включает в свои Сумерки лишь 26 стихотворений, содержащих 570 стихов. В Собрании Ходасевича находим следующую статистику:

Путем зерна
— 36 стихотворений, 847 стихов,

Тяжелая лира
— 47 стихотворений, 801 стих

Европейская ночь
— 29 стихотворений, 942 стиха.

Видно, что объем книги — совершенно обычный для Ходасевича и даже несколько превышает объем двух предыдущих. Обычен и срок, в который она сложилась: между выпуском Тяжелой лиры (1921) и Собрания стихов (1927) прошло около шести лет; таков же интервал и между первыми тремя его книгами (1908, 1914, 1920). Мы видели, какие вещи не вошли в Собрание: количественно таких прекрасных стихотворений не менее десяти. Но и это не все. Шесть новых, написанных за рубежом стихотворений этого периода включены в переработанные варианты Путем зерна и Тяжелой лиры, сами эти книги подверглись тщательной редактуре и исправлениям:

всего в них добавлено 11, а исключено 12 стихотворений. Без преувеличения, годы Европейской ночи для Ходасевича — это годы «процветающего жезла», даже если говорить только о поэзии.

Но если стихи первых лет, проведенных поэтом за границей, представлены в Собрании выборочно, то свои ранние стихи, входившие в Молодость и Счастливый домик, Ходасевич и вовсе отметает. (Исключение сделано лишь для стихотворения Акробат, получившего свою окончательную редакцию в 1921 году: оно вошло в Путем зерна.) Между тем среди них есть замечательные, почти не уступающие поздним, — так же, как и среди угодивших в отсев стихотворений из двух последующих книг.

Воспоминание, Рыбак, Сердце, непостижимым образом изгнанные из Путем зерна, «Слепая сердца мудрость…», выпавшая из Тяжелой лиры, — таковы, что их утрата нанесла бы урон не одному Ходасевичу, но русской музе в целом. Среди причин, вызвавших эти купюры, помимо имевшей для Ходасевича первостепенную важность композиционной стройности циклов, можно, по-видимому, назвать и общее падение интереса к поэзии в России и эмиграции.

Последние годы Ходасевича были мрачны. Европа, едва оправившись от неслыханной в истории бойни, стремительно приближалась к новой, еще более чудовищной.

Навстречу мраку новой России поднимался мрак новой Германии. Картины эмиграции были безрадостны, бесперспективны. Ходасевич, еще в середине 1920-х годов видевший, вслед за Мицкевичем, в эмигрантах «странников, идущих ко Святой земле», в начале 1930-х не скрывает своего в них разочарования. Живет он почти все время в долг, но при этом, как и прежде, играет. Некоторую материальную помощь оказывает ему сестра, Евгения Нидермиллер. Его собственные заработки малы и даются ему всё труднее. «Боже мой, что за счастье — ничего не писать и не думать о ближайшем фельетоне!» — восклицает он в письме к Н. Н. Берберовой в августе 1932 года, уже после их разлуки: Берберова оставила его еще в апреле. Он постоянно недомогает. К прежним болезням добавилась новая, которую пока не могут определить: лечат кишечник. Письма поэта отмечены бесконечной усталостью. Постепенно накапливается у него разочарование и в писателях русской диаспоры. В июне 1937 года он пишет Берберовой: «Литература мне омерзела вдребезги, теперь уже и старшая, и младшая. Сохраняю остатки нежности к Смоленскому и Сирину…» [Набокову]. В конце января 1939 года болезнь выходит наружу, почти лишая его движения, с мучительными болями. Он быстро худеет (к концу — весит около 50 килограммов), подавлен, плохо спит. И все-таки — пишет. Замечательный очерк, посвященный Дому искусств и Петербургу, был создан (или закончен) едва ли не в самый мучительный период болезни: в апреле 1939 года, между визитами к врачам и приступами боли, за два месяца до смерти.

Охваченный уничижением паче гордости, он утверждал, что ему не нужно будущего и что у него остается впереди одно прибежище — могила на Ваганьковском кладбище, в родной Москве. Но и в этом судьба отказала поэту, разомкнувшемуся со своим народом: он умер в Париже, в больнице для бедных.

Вл. Орлов. Перепутья, 1976.

В этой самодовольным резонерством дышащей сентенции служилого литературоведа правда лишь то, что некогда, в 1921 году, поэт и в самом деле помышлял о «прибежище» на Ваганьковском кладбище, в соседстве с могилой своей няни Е. А. Кузиной. Но назвать Москву 1939 года родной Ходасевичу — более чем недобросовестность, а частную клинику больницей для бедных — уже просто ложь. Неразомкнувшийся с народом автор продолжает:

В судьбе Ходасевича, в самом его облике есть нечто трагическое. Он выбрал себе в удел одиночество в

литературе, осмелился пойти уединенным и трудным путем, по-своему, в одиночку, воодушевляясь, ожесточаясь и мучась. Пример Ходасевича поучителен как пример одаренного поэта, пытавшегося противустать [!] потоку жизни и общему движению искусства.

Что и говорить: «пример Ходасевича поучителен». Мировая традиция с благодарностью относится к художникам, выбирающим «одинокий и трудный путь», противостоящим «общему», т.е. массовому, снижающему «движению искусства». Только подлинный индивидуализм, означающий личную ответственность за всё и всех, делает писателя совестью своего народа. Шагающее вперед и в ногу соколиное племя пользуется ответственностью коллективной, при которой никто ни за что не отвечает, и все вместе хорошо повинуются начальственным окриками.

Ходасевич умер в возрасте 53 лет, 14 июня 1939 года, в шесть часов утра, в частной клинике на улице Юниверситэ, спустя тринадцать часов после полуторачасовой операции. Вероятная причина смерти — рак поджелудочной железы. Хирург не успел до него добраться. Незадолго до этого, с 25 мая по 8 июня, Ходасевич лежал на обследовании в городской больнице Бруссэ. Это муниципальное учреждение Вл. Орлов и называет больницей для бедных***.

*** ***Солгав из идеологический побуждений, советский автор попутно и крайне неловко совершил идеологический же просчет: рядовую городскую больницу Парижа он назвал больницей для бедных. Задумчивый иностранец, прочтя эти строки, может, чего доброго, спросить: а нет ли и в СССР больниц для бедных?***

О. Б. Марголина и Н. Н. Берберова были с поэтом в последние дни его болезни, в последние часы перед операцией. Берберова вспоминает:

Я подошла к нему. Он стал крестить мне лицо и руки, я целовала его сморщенный желтый лоб, он целовал мои руки, заливая их слезами. Я обнимала его. У него были такие худые, острые плечи.

— Прощай, прощай, — говорил он, — будь счастлива. Господь тебя сохранит.

Операция, по мнению хирурга, опоздала на десять лет и уже не могла спасти Ходасевича. Он умер, не приходя в сознание, уже не страдая.

Шестнадцатого нюня, а 13:45, состоялось отпевание поэта в русской католической церкви на улице Франсуа Жерара, где

присутствовало несколько сот человек, а затем похороны — на кладбище в предместье Бийянкур, также при большом стечении народа. Гроб несли В. В. Вейдле, В. Смоленский. Ю. Мандельштам и Нидермиллер, зять Ходасевича.

Как и многие поэты прошлого, Ходасевич сам позаботился о своей эпитафии. Она многозначительна в своей лаконичности и простоте:

ПАМЯТНИК

Во мне конец, во мне начало.
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастие дано.
В России новой, но великой,
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок…

«Во мне конец, во мне начало» — это сказано с полной ответственностью. Ходасевич был последним из русских поэтов, сохранивших живую связь с Пушкиным и его эпохой, с петровской Россией. Но он верил, что и «новая Россия» жизнеспособна и некогда будет «великой»; что пушкинские традиции в русской литературе есть ее драгоценнейшее достояние, которое, видоизменившись, должно возродиться. «Надо, чтобы наше поэтическое прошлое стало нашим настоящим и — в новой форме — будущим…».

В Советском Союзе смерть Ходасевича прошла незамеченной. Вряд ли и в эмиграции была в должной мере осознана тяжесть потери, понесенной русской культурой, — однако весть о ней все же обошла страницы русской зарубежной печати от Эстонии до Австралии. Теперь, по прошествии десятилетий, напоминание об этой полной трагизма жизни может послужить нам поводом для скорбных раздумий, а имя поэта — поводом для воодушевления и надежды.

1981-83,

Ленинград

журнал Часы (Ленинград) №30 (самиздат), 1982.

В книге: Владислав Ходасевич. Собрание стихов в двух томах.

(Составление,) редакция и примечания Юрия Колкера. La Presse Libre, Paris, 1982-83.

журнал Молчание (Ленинград) №4 (самиздат), 1983.

В книге: Юрий Колкер. Айдесская прохлада, Геликон-плюс, Петербург, 2008.